Однажды играли…

Владислав Крапивин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В воспоминаниях о своем детстве писателя Владислава Крапивина переплелись реальность и фантазии, явь и сон. Ведь грань между ними так зыбка! Но именно смешение реальности и выдумки позволяет читателю заглянуть в удивительный мир любопытного дворового мальчишки…

- Владислав Крапивин
  - О дневниках
  - “Однажды играли…” Повесть
  - Квартал
  - Квартал
  - Квартал
  - О страшном
  - Оружие
  - Оружие
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - “Однажды играли…”
  - Патефонная магия

Владислав Крапивин
Однажды играли…
Фрагменты «Дневника с долгими воспоминаниями» или История ненаписанной повести

О дневниках

…Я взялся за этот дневник, можно сказать, с отчаяния. Столько несостоявшихся сюжетов в памяти, недозрелых, недооформленных до того уровня, чтобы из каждого сделать рассказ или повесть. И теперь уже ясно, что не хватит времени, чтобы все их реализовать (вот словечко!). И в то же время жаль, если они уйдут в небытие – все эти обрывки воспоминаний, короткие эпизоды, детали, сны… Конечно, кому они нужны кроме меня? И все-таки…

Кажется, я понимаю, почему В.Катаев бросился писать свой “Рог Оборона”. Времени оставалось мало, а хотелось выплеснуть на бумагу как можно больше.

К.Паустовский тоже писал о своем желании работать над ”свободной прозой”, не скованной требованиями сюжета и композиции…

Так вот, хочется написать побольше. А там пусть разбираются, если кому-то будет интересно. “Сжимать” себя и следить за стилем я не стану. За композицией тоже. Это будут заметки и долгие уходы в прошлое…

Манера Константина Георгиевича Паустовского, когда он в своих воспоминаниях как бы заново выстраивает свою жизнь, мне понятна. Тем более, что теперь, вспоминая свои пятьдесят восемь с половиной лет, я иногда искренне путаю действительность и сны, реальные факты и придуманные сюжеты. Теперь все, что помнится, – б ы л о. Ибо реально оказывает влияние на настоящее.

Итак, “Дневник с долгими воспоминаниями”. Дневник, который я, поддавшись соблазну, озаглавливаю “Однажды играли…”

Чтобы объяснить такое название, приведу несколько страниц из своей начатой в феврале девяносто четвертого года и незаконченной повести. Я ее никогда не напишу, поэтому с чистой совестью могу использовать в дневнике. Далее – цитируемые страницы.

“Однажды играли…” Повесть

“Однажды играли…”

В давние-давние времена, когда я лишь мечтал о том, что вырасту и стану писать книжки, одну из будущих повестей собирался я начать именно этими словами.

Причина здесь такая. В девятилетнем возрасте я впервые взялся читать “Пиковую даму” (детское издание большущего формата с множеством картинок). До той поры я знал у Александра Сергеевича лишь стихи и сказки. А тут открыл эту повесть и с первых же слов был ошарашен лаконизмом и емкостью пушкинской прозы.

Ну, это я теперь умно выражаюсь – “лаконизмом и емкостью” – а тогда лишь удивленно и слегка завистливо вздохнул. И потер стриженный затылок. Надо же так! Несколько слов – и все как на ладони!

Конечно, не всякий читатель моего возраста мог бы с должной полнотой воспринять начало знаменитой книги (это я не раз отмечал потом про себя с известной долей самодовольства). Рыжий Толька Петров, который сроду не читал никаких книжек, пожалуй, спросил бы:

“А как они играли-то? В дурака или в пьяницу?”

Даже мой начитанный приятель Семка Левитин, и тот сперва удивился:

– Разве Пушкин дожил до революции?

Оказывается, Семка спутал конногвардейцев с красногвардейцами из конной армии Буденного.

Но я был “эрудированное дитя”, кое-что читал про дворянский быт, знал про пушкинские времена и декабристов. И начавши читать “Пиковую даму”, все сразу увидел почти что наяву.

Зал петербургского особняка, свечи в медных канделябрах, зимнюю ночь за высокими, с полукруглым верхом окнами, блеск аксельбантов и позументов. В этом зале царила особая атмосфера – этакое офицерское братство и в то же время безупречный светский этикет, когда необдуманное слово может стоить вызова на дуэль.

И все это в одной фразе: “Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова”

Да, я обязательно когда-нибудь так же начну свою повесть.

Конечно, это не совсем хорошо – заимствовать фразы у других писателей, да еще у самых великих. Но, думаю, Пушкин бы не обиделся. Особенно, если бы узнал, что по его стихам я

учился читать…

Итак, почти через полвека после знакомства с “Пиковой дамой” я исполняю свою мечту. Простите меня, Александр Сергеевич. Всего-то два слова. Точнее, три…

“Однажды играли в…”

А дальше – все свое. Совсем не так, как у Пушкина. Потому что игра наша была не в карты. И вообще не было в ней ничего великосветского. Совсем наоборот. Даже при необходимости назвать ее, я испытываю неловкость

Название состояло из прилагательного и существительного. Прилагательное: “чугунная”. Или, как мы выражались, – “чугунна”. А существительное… начиналось оно на букву “ж” и обозначало известную часть тела.

Игра была похожа на чехарду. Но не в точности.

Сперва, естественно, считались. Чаще всего:

На золотом крыльце сидели…

Именно на “зо-ло-том” , а не на “златом”, как принято сейчас.

А иногда тянули щепочки.

Кому не повезло в считалке, или кто вытянул короткую палочку, вставал на четвереньки. Остальные с разбега прыгали через него. Каждый перепрыгнувший клал на спину “коня” свой “кемель”: то, что носил на голове – тюбетейку, испанку, кепчонку с пуговкой, детскую бескозырку с надписью “Марат” на ленточке или видавшую виды отцовскую военную фуражку с поломанным козырьком. У кого “кемеля” не было, тот мастерил из газеты кубанку.

Разномастные головные уборы укладывали один на другой. Столбик их вырастал, и в конце концов кто-то из прыгунов обязательно сбивал его. Под веселые клики всей братии.

Затем наступал главный момент игры. “Конь” оставался на четвереньках (и заранее вздыхал, опасливо оглядываясь). А прыгуна-неудачника четверо самых крепких игроков брали за руки и за ноги и начинали раскачивать под общее пение:

На-ашему барину

В ж… кол вобьем!

Название места, в которое несчастному барину сулили вбить кол, пелось так же громко и жизнерадостно, как все другие слова. Это не смущало никого, даже юного скрипача Вовчика и очень воспитанного Юрика Рудзевича, чья мама была врачом-стоматологом, а папа – аж начальником областной автоинспекции. В игре все были на равных, и этикет уличной компании диктовал свои правила и свои выражения.

Взрослые жители улицы Герцена привыкли к нашим играм и не обращали внимания.

Качание было плавным и размашистым. После третьего размаха, при котором как раз пелось это самое слово, тот, кого качали, ударялся кормовой частью о того, кто стоял на четвереньках. Тоже о кормовую часть, разумеется. И при словах "…кол вобьем" несчастный "конь" уже летел головой в лебеду.

На этом обычно дело и кончалось. До нового захода. Но иногда одним ударом не ограничивались и повторяли процедуру столько раз, сколько было сбито шапок.

Наверно, со стороны это выглядело достаточно сурово, но не помню, чтобы кто-то из нас пострадал или сильно ушибся. Щуплые наши зады были все же не "чугунны" и амортизировали вполне успешно.

Чаще всего эти игры устраивались на травянистой лужайке перед окнами дома, где жил дядя Боря. (Когда-то я жил здесь же, а переехав на другую улицу, то и дело прибегал в гости к дядюшке и старым приятелям).

Однажды мама и Артур Сергеевич – мой отчим – ходили в городской театр, что на углу улиц Герцена и Первомайской, и на обратном пути решили навестить дядю Борю. Проходя мимо дома к калитке, они стали свидетелями нашей игры. В тот момент мама только головой покачала. Но позже, когда мы были у дядюшки в комнате, она сказала:

– Что за чудовищная забава! Вы отобьете себе все внутренности!

– Ни фига не будет! У нас потроха резиновые! – бодро отозвался я, не успев еще перейти с уличного диалекта на язык семейного общения.

– Ужас! – простонала мама.

Но за меня вступился дядя Боря:

– Ты, милая сестрица, вспомни наше-то детство. В те же игры играли.

– Я никогда ни во что подобное не играла!

– Ну, ты с девчонками в скакалки да в классики. А мы-то, мальчишки, так же, как эти…

– И пели такие же ужасные слова?

Тут мне помог и отчим:

– Что же здесь ужасного? Это фольклор. Наследие эпохи крепостничества. Так сказать, протест крестьянских детей против векового рабства. Соберутся где-нибудь за овином и отводят душу…

– Но нельзя разве отводить душу… поприличнее? Хотя бы сейчас, когда рабства уже нет!

Отчим усмехнулся:

– Народные традиции незыблемы. Да и подумай, как бы это звучало: “Нашему барину в попку кол вобьем”…

Я и Вовка Покрасов, оказавшийся рядом, обрадованно расхохотались. И умчались на улицу – укреплять народные традиции. Мама меня не удерживала. Она спешила домой: маленький мой брат Леська, оставленный с соседкой тетей Нюрой, наверно, уже соскучился и вопил что есть силы…”

Все, что здесь описано, было на самом деле. Только отчима звали иначе. Артуром Сергеевичем я именовал его во многих повестях, где рассказывал о своем детстве. А на самом деле он был Владимир Эдвинович Кун. Потомок шотландских переселенцев, родственник знаменитого Куна – автора книги древнегреческих мифов (по его, отчима, словам).

Я много писал об отчиме и об истории его женитьбы на маме в разных повестях. Там почти все точно – за исключением имен и некоторых деталей. Повторяться нет смысла…

А у моего друга Семки фамилия была не Левитин, а несколько иная. Но я и в дневнике буду называть его Левитиным – привык. Он – персонаж нескольких моих книжек.

Кстати, и другие фамилии в этой публикации я, пожалуй, тоже слегка изменю. Дело в том, что я не собирался в ближайшие годы печатать этот дневник, а тут вдруг пришлось. И я не хочу кого-то обидеть неточностями или чересчур субъективной оценкой людей и событий…

Квартал

Так я хотел назвать еще одну свою повесть. Из того же ряда, что повести и рассказы в циклах “Шестая Бастионная” и “Золотое колечко на границе тьмы”.

Хотел рассказать о любимом своем квартале на улице Герцена, где прошло мое детство. Я рассказывал про это и раньше, но тут хотелось написать именно про *квартал.* Летом 94-го года я был в Тюмени и там на встрече с читателями впервые сказал об этой теме.

Я говорил, что не понимаю таких выражений: “малая родина”, “большая родина” и что моей родиной всегда остается квартал на улице Герцена между улицами Дзержинского и Первомайской. Понимаю, как уязвима моя позиция, особенно для ура-российских патриотов, требующих всеобъемлющей любви к государству. Но что сказано, то сказано.

О квартале я вполне логично вспоминал, когда перечитывал процитированные выше страницы “Однажды играли…”

Но вспоминать следует по порядку (хотя бы стараться!). И здесь надо сказать, что родился-то я все-таки не на улице Герцена, а в городском родильном доме. Это длинное одноэтажное, с мезонином, здание на углу улиц Володарского и Семакова, напротив Знаменской церкви. Церковь, построенная в восемнадцатом веке в стиле сибирского барокко, прекрасна.

Эту церковь никогда не закрывали, не запрещали. И в том 38-м году (страшном, “энкавэдэшном”) она тоже работала. Я родился 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и мама потом рассказывала, что в то утро звонили колокола. И впервые выпал снег – белый, чистый. Говорят, что праздник Покрова – это еще и день, когда полагается появляться первому снежному покрову. Если так в самом деле случается – это хорошая примета.

Мама говорила, что в роддоме ей было хорошо. Она сохранила на память бумажку – меню роддомовской кухни с блюдами, которые там предлагались женщинам (вот так! Это вам не нынешние родильные дома). Меню это сейчас в моем архиве. Оно помечено 21.10.38, значит, мама через неделю после моего рождения еще находилась под опекой врачей.

Это карточка с изображением пухлого повара, держащего две тарелки со снедью, и с узорчатой надписью:

Тюменский род-дом МЕНЮ

Из документа следует, что в тот день был утренний чай: творог, хлеб с молоком; завтрак: кофе, булочки; обед: биточки с гренками черными и кашей; ужин: запеканка вермишелевая,

молоко по 0,2 (видимо, двести граммов); вечерний чай: белый хлеб. И подпись – *дежурный врач: д/ак. Е.Ильин (или Ильина)*. Д/ак – это, наверно, дежурный акушер.

Из этого-то уютного род. (родильного) дома я отправился в другой род. (родной) дом – № 59 на улице Герцена.

Кстати, под этим номером было два дома. Один на углу ул. Дзержинского, двухэтажный (кирпичный низ и деревянный верх с типичной тюменской резьбой у окон) и наш одноэтажный, который назывался “флигель”.

Первое мое воспоминание об окружающем мире – очень раннее. Я сижу у мамы на коленях. Мамина грудь, которую я только что сосал, еще не убрана внутрь синей, в мелкий белый горошек, кофточки. По груди ниже соска стекает молочная капля. Мама что-то говорит мне с полушутливой укоризной. Слов не помню, но смысл тот, что такому большому мальчику пора отвыкать “сосать титю”. Я не испытываю стыда, мне хорошо.

Мама говорила, что стала отучать меня от груди, когда исполнился год. Значит, это воспоминание из середины или конца октября 39-го года.

За окном ясное утро. Солнце светит вдоль улицы и косо освещает деревянный, покрытый желтой краской одноэтажный дом со ставнями. Потом я не раз бывал в этом доме у своего друга Юры Рудзевича…

Еще я вижу знакомую комнату с четырьмя окнами, портрет писателя Фурманова над столом (и, конечно, не ведаю еще, что это Фурманов, но знаю, что вся эта штука в раме называется “портрет”). Вижу этажерку с книгами и темно-зеленым керамическим красноармейцем-пограничником на верхней полке (его купили в те дни, когда я родился). Ну и так далее…

А деревянный желтый дом за окнами – первое, что я помню в нашем квартале.

Но сначала о нашем доме, о флигеле.

Он выходил на улицу торцом, тремя окнами. И казался с тротуара небольшой избушкой под двускатной крышей. А внутри двора дом тянулся длинно, как барак. Но он не был бараком. Просто старый длинный дом.

Когда мне было лет пять, я любил пробегать его насквозь – через нашу большую комнату, через проходную “дяди Борину”, через кухню с обширной русской печью.

Кроме нас, в доме жила семья Шаклиных: тетя Лена, ее брат-инвалид Вячеслав Васильевич, ее сыновья Павлик и Володя. Павлик был старше меня на три года, а Володя – совсем большой. Чуть поменьше моего старшего брата Сергея, который родился в

26-м.

Стены внутри дома были дощатые, тонкие, все слышно, что делается у соседей. Впрочем, особых тайн друг от друга и не было…

Говорили, что когда-то дом принадлежал Шаклиным, но потом его отняли и он стал “жактовским” (от слова ЖАКТ – что-то вроде нынешнего ЖКО; заведовала ЖАКТом, кстати, женщина по фамилии Устюжанина, фигура всему кварталу весьма известная).

…Надо же, сколько я сегодня написал! Почти восемь страниц в большой амбарной книге (не считая вставленного отрывка из повести)! На сегодня, наверно, хватит.

21.03. 97 (вечер).

Сейчас прочитал в “Известиях”, что комета, которую мы наблюдаем в эти дни, называется кометой Хейла-Боппа. Это самая яркая комета XX века. Сегодня она подойдет к Земле на минимальное расстояние – 200 миллионов километров (слишком много, даже с учетом инфляции). Впрочем, все равно ее сейчас не видать, небо затянуто. В следующий раз эта “Хейла” подъедет к нам только через 2379 лет. Едва ли дотяну до той поры…

23.03. 97

Квартал

Стихи “Начинается Земля, как известно, от Кремля” были знакомы мне еще с младенчества. Я эту версию принимал без возражений, как официальную. Но в глубине души знал, что Земля начинается от нашего двора между двумя домами № 59 на тюменской улице Герцена. И от нашего квартала.

Квартала давно уже нет, но я его помню, будто уехал оттуда лишь сегодня утром.

Начинался наш квартал (в моем представлении) с двухэтажного дома на углу улицы Дзержинского.

Это название улица получила уже на моей детской памяти, во время войны. А до того была Садовой.

Долгое время я был уверен, что фамилия “Дзержинский” пишется без буквы “з” – “Держинский”.

Старший брат объяснил мне, что улицу переименовали в честь революционера-героя, который был знаменит тем, что ловил врагов Советской власти и шпионов.

– А! Значит, поэтому такая фамилия! – радостно догадался я. – Он, когда ловил, кричал : “Держи его!”

Мама, которая оказалась рядом, строго велела мне никогда больше не говорить таких глупостей. А брат Сережа (он был совсем большой, старше меня на двенадцать лет), захихикал.

От улицы Держинского (виноват, Дзержинского) квартал тянулся до Первомайской. Потом, уже взрослым, я измерил это расстояние шагами. Их оказалось сто сорок два. Значит, около ста метров.

После двухэтажного дома стоял наш, флигель. Обитый досками, покрытый облупленной желто-табачной краской. На улицу смотрели три окна со ставнями. Карнизы – без узоров, простенькие. На треугольном фронтоне крыши – слуховое чердачное оконце в виде полумесяца “спинкой” вверх.

Под окнами тянулась завалинка – дощатая, набитая опилками. Угол завалинки прогнил, мы, ребятишки, выгребали оттуда опилки для игры (кидаться ими или варить из них “кашу”). Нас за это ругали, но не сильно. И мы выгребали снова. Запас опилок казался бесконечным. У них был особый запах – запах моего дома…

26. 03. 97

Вчера утром выступал в детской библиотеке где-то в районе улицы Посадской. Точного адреса не запомнил, везли на машине “огородами” да еще, к тому же, сквозь пургу.

Читальный зал (большой) был полон, человек двести. Ребята

от первого до десятого класса. Разговор шел часа полтора. Столько вопросов, столько неподдельного интереса (и благодарности за книжки!). Падали на пол алюминиевые номерки…

Чудесные ребятишки. Дима в красной курточке, восьмилетний третьеклассник Саша. Семилетний Слава с удивительно чистыми глазами. Десятилетний Саша, который очень огорчался, что не смог привести маму – она уехала в командировку. Андрей из одиннадцатого класса – один из рецензентов моего “Сундуккера”…

Слава Богу, есть еще читатели, несмотря на все мерзости жизни, старания чиновников оболванить юное поколение, несмотря на лавины теледерьма и компьютерных страшилок…

Мы с моим другом Семкой тоже были читатели. Еще какие! В пятом классе – “Хождение по мукам”, “Собор Парижской Богоматери”, “Давид Копперфильд”… Не говоря уже о всяких приключенческих книжках, которые добывали где могли.

Если не могли поделить книгу (кому читать первому!), то случалось, что старались стащить ее друг у друга, чтобы запереться дома и не выходить, пока не дочитаешь. Пускай твой друг ходит под окнами с жалобными просьбами или барабанит в дверь. Такое “книжное хищение” было вроде игры, обижаться всерьез из-за него не полагалось.

Жил Семка с мамой Софьей Мироновной и старшими братьями Моней и Борей во дворе бабки Каблуковой. В кирпичном флигельке, который принадлежал ей же. Флигелек был тесный – две комнатушки и кухонька. Наверно, раньше это была сторожка или дворницкая при богатом доме. (У Каблуковых дом был просторный – видимо, купеческий в прежние времена – только очень старинный, кособокий, вросший в землю по самые окна).

Стены крохотного Семкиного домика были тем не менее могучие – не меньше полуметра в толщину. Окна – как бойницы в замке. Здесь удобно было держать оборону. Семка рассказывал, будто ее и держали – в гражданскую войну. Красные отстреливались от колчаковцев. И даже показывал след от пули на кирпиче у подоконника. Я догадывался, что след этот Семка сам выколупал железкой, но не уличал его. Верить было интересно. Да и не хотелось обижать Семку.

Друзья мы тогда были настоящие. Доверяли друг другу тайны, щедро делились своими ребячьими богатствами, прощали друг другу недостатки. Он мне – излишнюю чувствительность, трусоватость и слабосильность, я ему – чрезмерный практицизм, склонность к обжорству и цинизм в суждениях о жизни и людях.

Семкина мать работала в цехе, где жарили пирожки с ливером. Это была пожилая хворая женщина с опухшими ногами, постоянно озабоченная тяготами жизни и Семкиными двойками (в пятом классе он остался на второй год из-за английского языка). Отца семья лишилась, по-моему, еще до войны. Как многие в нашем квартале. Мама говорила мне потом, что от Садовой до Первомайской не было ни одного двора, где кого-нибудь из мужчин не “взяли” бы…

К похожему на крепостной каземат домику Левитиных примыкал садик (внутри большого двора) с дикими яблонями, на которых плоды были с крупную рябину. Есть их можно было только поздней осенью, когда они промерзали и делались вязко-сладкими.

Мы иногда валялись в садике на траве, болтали, читали вслух или рассуждали о будущем. Мы хотели быть моряками (правда, Семка откровенно сомневался, что меня возьмут на морскую службу: “Ты хиленький” – “Ну и что! Я к тому времени натренирую организм! А перекормленных тоже не берут, имей в виду!”).

В яблонях прыгали воробьи и синицы. Нам было хорошо…

29. 03. 97

Квартал

Долгое время я был уверен, что улица Герцена тянется точно с востока на запад (или наоборот, как хотите). Потому что летними вечерами как раз в конце улицы уходило за крыши и тополя похожее на громадный помидор солнце. А зимой оно, невыспавшееся, вставало в другом конце улицы (летом восход я всегда просыпал).

Лишь много позже я сообразил: в летнее время в наших краях солнце садится не на западе, а на северо-западе (а то и еще ближе к северу). А зимой встает на юго-востоке, ибо дни в ту пору коротки. Эта мысль осенила меня, когда я узнал, что алтари всех церквей повернуты на восток. Наши тюменские церкви стояли отнюдь не параллельно моему родному кварталу, их алтари смотрели куда-то в сторону реки…

Итак, улица Герцена с моим родным кварталом лежала (и лежит до сих пор) примерно на линии SO – NW. На юго-востоке я видел всегда таинственно синеющую полоску высоких густых деревьев. Взрослые говорили, что там кладбище. Текутьевское – по имени дореволюционного тюменского богатея. Кладбище казалось сумрачным и загадочным, как и полагалось нездешней, “иной” стране, где обитают умершие. Но оно не вызывало страха, ибо, по моим понятиям, находилось в непостижимой дали, в каком-то нездешнем пространстве. Было нереальным.

Правда, о реальности кладбища иногда свидетельствовали похоронные процессии, которые неспешно, порой под оркестр, двигались мимо нашего дома.

Оркестр, если он был, шел позади процессии, а впереди два человека несли на головах крышку гроба. Сам гроб стоял на фигурном катафалке с кистями, бахромой и витыми столбиками – совсем на таком, как в фильме “Веселые ребята” (помните, там на катафалке ездила разудалая компания Леонида Утесова). Процессия медленно перемещалась по дороге под скорбное уханье барабана и вздохи труб, и мы, ребятишки, притихали от страха, любопытства и смутной еще догадки о бренности всего земного…

Вообще, много кто ходил в сороковые годы по дороге нашего квартала.

В дни первомайских и октябрьских праздников там шагали возбужденные колонны с лозунгами, вздетыми на длинные палки, с портретами “Ленина-Сталина и всех вождей”, тяжелыми знаменами и горящими на солнце трубами. По улицам Семакова и Красина колоннам следовало пройти на центральную улицу

Республики, дабы затем торжественно прошествовать мимо фанерной трибуны, сколоченной напротив горсовета.

Ни дошкольников, ни учеников младших классов на демонстрации не брали, и пройти с колонной под оркестр было моей многолетней мечтой. Однажды, во втором классе, мечта чуть не осуществилась. Отчим взял меня на первомайскую демонстрацию в колонну, состоящую из работников всяких контор.

Ряды демонстрантов долго томились на Первомайской. К отчиму подошел какой-то дядька, его знакомый, Они решили, что ждать “прохождения” придется еще немало времени, можно сходить домой (мы жили тогда на Смоленской), и быстро отметить там начало Первомая.

И пошли, хотя я отчаянно убеждал, что мы можем опоздать к моменту, когда колонна двинется на главную улицу.

Мы не опоздали. Мы просто не пошли. Потому что отчим и его приятель быстро разомлели и решили, что в массе демонстрантов не заметят отсутствия их скромных персон. Дело было, кстати, рискованное. Могли заметить и приписать что-нибудь “антисоветское” – особенно отчиму с его неблагополучным прошлым. Но водочка оказалась сильнее здравых опасений.

А я ронял слезы на дворе у забора. И надеялся на чудо до последнего момента. Даже тогда, когда было ясно, что надеяться поздно…

Лишь когда я был в четвертом классе, мне с несколькими незнакомыми пацанами удалось Первого мая втереться в колонну и промаршировать мимо трибуны, где маячили шляпы и пиджаки с алыми бантами. Я был счастлив “по самую макушку”. И продолжал печатать шаг по асфальту еще долго после того, как трибуна осталась позади. Пока идущий рядом сумрачный мальчишка-скептик не сказал мне:

– Хватит топать-то, ненормальный…

Я застеснялся, но полностью моя радость не угасла.

И так, по кварталу проходили и похоронные процессии, и праздничные колонны. А еще – в годы войны – маршировали красноармейцы, бойцы (только в сорок третьем году, после введения погон, стали говорить “солдаты”, а командиров начали называть офицерами; поначалу это было дико: мы привыкли, что офицеры и солдаты – только у белых и у немцев).

В ту пору в Тюмени формировались для отправки на фронт военные части, было пехотное (и, кажется, еще какое-то) училище. В районе Затюменки располагался военный городок.

По улице Герцена часто проходили военные колонны. Иногда

– на стрельбище. Это было видно по тому, что на плечах бойцы несли – как портреты для демонстрации – фанерные щиты на длинных палках. На щитах – мишени с зелеными и черными фигурами фашистов в касках.

Иногда бойцы несли противотанковые ружья. Одно ружье – два человека. У переднего на плече лежал ствол, у заднего приклад.

Сбоку от колонны обычно шел командир. Сначала командиры были с “кубиками” в петлицах на отложных воротниках гимнастерок. Потом – с погонами (а у гимнастерок появились стоячие воротники).

Командиры (молодые и строгие) бодро командовали:

– Ать-два-три-и… Ать-два-три-и… Запевай!

И бойцы запевали:

Ой ты Галю, Галю молодая,
Спидманули Галю, увезли с собой…
Или:
Белоруссия родная, Украина золотая!
Наше счастье молодое
Мы врагу никогда не отдадим!
А еще:
Кони сытые бьют копытами,
Разобьем по-сталински врага!

Коней не было, “копытами били” немощеную дорогу сами бойцы. Сперва – ботинками, которые носили с обмотками, а ближе к концу войны – кирзовыми сапогами (которые потом наверняка приходилось как следует чистить, потому что пыль на улице Герцена лежала в колеях мягким глубоким слоем… Иногда колонны шли под оркестр. На бойцах – шинельные скатки через плечо и вещевые мешки. Над пилотками – чаща штыков. Она колыхалась в такт ударам барабана и ритму маршевой мелодии, в которой угадывались слова:

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога…

Колонна сворачивала на Первомайскую, направо, к вокзалу. Все понимали – на фронт. И бежали за колонной по тротуарам и подорожникам обочин мальчишки. И стояли у калиток по двум сторонам квартала женщины. Молча. Каждая знала – не все из этих ребят в новеньких гимнастерках вернутся. Может быть, никто не вернется. И у каждой женщины кто-то из родных был уже т а м, на передовой. Впрочем, не у всех. Кое-кто получил похоронки. Потому и плакали у калиток…

Только жившая в нашем дворе Таисия Тихоновна не плакала.

Ей, как говорится, нечего и некого было терять. Детей у нее не было, а муж ее (которого все звали по фамилии – Вальцев) уже вернулся с войны. Возможно, он храбро воевал. Вернулся домой инвалидом – без левой руки. Но соседи смотрели на него и на Таисию Тихоновну искоса. Может быть, от зависти (хотя и без руки, но живой все-таки). Может быть, потому, что Вальцев, вернувшись, занял какой-то ответственный пост, ходил в новом офицерском обмундировании без погон и тугих хромовых сапожках (сам тоже “тугой”, кругленький) и получал “литерный” паек. Так говорили соседки… А Таисию Тихоновну не любили еще и за склочный характер, за любовь к сплетням. В ней непонятным образом сочетались манеры жеманной дамы и базарной торговки. Она была худа, сварлива и любила воспитывать соседских ребят…

Так вот, Таисия Тихоновна махала уходящей колонне платочком, а потом с чувством исполненного долга удалялась в калитку. А оркестр делался все глуше, на дорогу оседала поднятая сапогами пыль. От вечернего солнца она казалась желтой.

30. 03. 97

Сегодня первый день после перевода часов на летнее время. А на улице – полная зима. Пространство за окном заштриховано косыми линиями летящего снега. Природа компенсирует сверхпозднее начало зимнего сезона: в первых числах декабря была еще теплая осень.

Все в этом мире встало на голову…

А в сороковых годах не делали перевода времени с зимнего на летнее и наоборот. Не до того было. Была война.

До нашего, далекого от боев городка война докатывалась глухо: трагическими сводками по радио, ранеными на улицах, похоронками, приходившими в соседние дома и постоянным страхом: а что там с папой?

Мама до войны заведовала детским садом, потом уволилась, потому что родился я. А во время войны снова пришлось идти на работу – жить-то надо. Сперва мама работала поваром в столовой, потом в госпитале и наконец стала заведующей женским отделом (“Женотделом”) в городском военкомате. Должность была какая-то странная, чуть ли не на общественных началах, но мама получала паек, дрова, и были у нее еще какие-то “офицерские” льготы. Иногда полушутя мама говорила, что имеет право на звание капитана…

Но я опять отвлекся. Я же писал о приметах войны в нашем квартале.

Помимо военных колонн и раненых бойцов и командиров были и другие приметы. Зимой сорок второго года брат сообщил, что на нашей улице идет бой. Только не настоящий, а учебный. Называется “манёвры”. Я понимал, что такое учебный бой. Видел уже учебные винтовки (деревянные) и гранаты, с которыми старшеклассники обучались военному делу. А “манёвры” – это учеба красноармейцев, чтобы потом бить фашистов по-настоящему.

– Смотри, – сказал Сережа. Взял меня под мышки и поставил на подоконник.

Я увидел, как в открытую калитку вбежали два бойца в суконных шишкастых шлемах – буденовках. Буденовки в армии тогда были уже отменены, однако в тыловых частях их еще донашивали (не пропадать же добру).

Один боец встал на колено и выставил в калитку винтовку со штыком. Второй тоже прицелился, но стоя, над головой у товарища.

– Будут стрелять? – опасливо прошептал я, потому что боялся громких выстрелов (например, когда Сережа и Володя Шаклин палили на кухне из поджигов).

– Не знаю, – завистливо сказал Сережа. – Хорошо бы…

Но бойцы стрелять не стали. Поцелились немного и выскочили за калитку.

Иногда военные вели неподалеку какие-то работы (то ли ремонтировали забор вокруг ближней пекарни, то ли разгружали дрова для поселившегося в соседних домах воинского начальства). Один раз к нам постучали два солдатика – в обмотках, в куцых шинелишках, в ушанках, завязанных под подбородками. На улице был зимний холод. Солдатики сказали, что родом они из-под Ташкента.

Их лица не потеряли природной смуглости, но были сморщены от холода. Один тихонько плакал. Замерзшие ботинки стучали о половицы.

Мама в тот момент готовила пареную свеклу с добавкой пайкового сахара – лакомство военного времени. Дала солдатикам по красному горячему клубню.

Тот, что плакал, пожевал и улыбнулся сквозь слезы:

– Как урюк…

Случай запомнился. Мама вспоминала этих солдатиков и после войны, все жалела их:

– Господи, они даже по-русски-то плохо говорили. Они просто не понимали, зачем их выдернули с теплой родины, остригли, повезли куда-то в холод, в голод, под крики осатанелых, издерганных командиров… Понятно, что некоторые бежали…

Тех, кто бежал, называли неприятным словом “дезертиры” (похоже на “дизентерию”, которой я один раз мучительно болел, и на “дезинфекцию” – борьбу с заразой).

Дезертиров полагалось ловить и расстреливать или отправлять в штрафные роты.

Ловили их по ночам.

Иногда среди ночи раздавался безжалостный стук в окно. В доме появлялись несколько красноармейцев с винтовками (приклады стукали об пол) и командир с кубиками в ромбовидных петлицах шинели. Они были сумрачны и деловиты. Заглядывали под кровати и даже в большой деревянный сундук с одеждой – больше дезертирам спрятаться было негде. Мама стояла, нервно прижав к груди концы накинутого платка. Остальные съеживались под одеялами.

Убедившись, что дезертиров мы не укрываем, командир сухо интересовался документами Сергея. Документы были в порядке: до призывного возраста брат еще не дотянул и к тому же работал на оборонном заводе.

– Марш… – недовольно командовал начальник патруля своим подчиненным и пропускал их перед собой в дверь. И лишь на пороге, полуобернувшись и козырнув, говорил:

– Извините. Служба…

Помню, что такое случалось не однажды.

Один раз Сергей не выдержал:

– Ехали бы воевать, вместо того, чтобы невиноватых людей по ночам дергать…

Он сказал это уже в закрывшуюся за патрулем дверь, но мама все равно испуганно накинулась на него:

– Замолчи сейчас же! Хочешь попасть за решетку из-за своего длинного языка?!

То, что “из-за длинного языка” можно попасть “куда следует”, я знал уже с малолетства. Свидетельство тому – колонны арестантов, которые ходили по нашему кварталу не реже, чем военные. Было время, что ходили каждый день. Тюрьма находилась неподалеку, на улице Ялуторовской (высокий частокол, дощатые башенки с часовыми, все это слегка похоже было на старинную деревянную крепость с картинок), и заключенных вели утром по нашему кварталу на какие-то работы, а вечером обратно.

Квартал притихал.

Шли сутулые худые мужчины в ватниках и мятых кепках, смотрели под ноги. Запинались на ходу. А по сторонам шагали нахмуренные часовые с длинными колючими винтовками наперевес. Никуда не убежишь. Да никто из арестованных, по-

моему, и не думал бежать.

Хотите верьте, хотите нет, но уже тогда я – дошкольник – знал, что среди заключенных есть такие, кто попал в тюрьму ни за что.

В самом деле, не мог же я поверить, что шпионом и белогвардейцем был отец Пашки и Володи Шаклиных, чей портрет висел в их комнате и через несколько лет после того, как отца “взяли”.

Случилось это, по-моему, в тридцать седьмом году, когда Павлику было около двух лет, а Володя собирался в первый класс.

Говорили, что за Шаклиным-старшим пришел сосед, который жил в одном из ближних домов и служил “там”. С сопровождающими, конечно. И не ночью, как обычно это делалось, а утром. И сказал:

– Извини Григорий Иванович, надо идти. Если ошибка, скоро вернешься. А у меня работа такая…

Отец Шаклин был болен, маялся желудком, пошел с трудом. Потом, через много лет, стало известно, что он очень скоро умер в тюрьме.

Тетя Лена – мать Пашки и Володи – рассказывала, что, когда наступила эпоха реабилитаций, ее пригласили в КГБ. Молоденький сотрудник в штатском (наверно, лейтенант) вручил ей пособие за погибшего мужа – кажется, в размере среднемесячной зарплаты. Тетя Лена кинула деньги на стол.

– Господи, ну я-то здесь причем! – со стоном сказал измученный подобными сценами лейтенантик. – Меня тогда на свете не было!

Наверно, он был прав по-своему. Но правота тети Лены была неизмеримо больше… А того энкавэдэшника, который так “по-соседски” забрал Шаклина, тоже, говорят, вскоре взяли. Тоже как врага народа.

Впрочем, не исключено, что я путаю события. Я знаю их по рассказам мамы и других взрослых. Но от путаницы в частностях события эти не делаются менее страшными…

Кстати, в тех же рассказах я слышал, будто в вину Пашкиному отцу вменялось то, что он мастерил из бумаги и коллекционировал солдатиков разных стран – среди них были и представители капиталистических армий! А это – сплошная контрреволюция.

Солдатиков почему-то не конфисковали. Они хранились дома у Шаклиных в пухлой конторской папке, и мы с Пашкой иногда играли ими…

Я представляю, с каким чувством смотрела от калитки тетя Лена на проходивших мимо арестантов. Надеялась, наверно, что

и ее муж где-нибудь так же – под конвоем, но все-таки живой…

31. 03. 97

О страшном

Видимо, от этих вот посещений патрулей, от приглушенных, с полунамеками, разговоров взрослых, от их постоянной боязни “синих фуражек” (которые носили тогда чины НКВД), от рассказов о зверствах фашистов на оккупированных землях во мне и родилось тогда это чувство – особый вид страха перед злой непонятной силой.

Сила эта могла проявить себя самым неожиданным образом: в безотчетной боязни за маму, за брата, за сестру; в страхе перед темным углом в сенях, который еще вчера вовсе не пугал; в назойливом опасении, что вот-вот постучит в дверь цыганка и сунет меня в мешок и никто не посмеет заступиться. Но эти страхи все-таки можно было прогнать при свете дня. А вот сны…

Помню сон, что солнце стало черным (я потом не удивился, прочитав у Шолохова про “ослепительно черное солнце”). Оно сделалось черным, но при этом еще более слепящим и знойным. Под таким солнцем по городу сновали непонятные существа на круглых, медных, похожих на начищенные самовары автомобильчиках. Это были не то марсиане (про которых рассказывал Пашка), не то фашисты. А возможно – те и другие сразу. Они наводили свой порядок (по-немецки “орднунг” – так говорил брат). Суть порядка была неясна, но то, что она зловеща, чувствовалась всеми нервами. В воздухе неслышно разносилось известие, что скоро будут “брать”. Но на самом деле все происходило еще страшнее. О н и никого не брали, просто с шелестом проносились на автомобильчиках, и позади них оставалась п у с т о т а. Как эта пустота выглядела, я не могу описать. Просто там н и ч е г о н е б ы л о.

Другой сон казался еще страшнее, поскольку в нем полно было бытовых подробностей.

По приказу какого-то начальства в городе появился *детский палач* . Он ездил по улицам на телеге, в которую запряжена была сонная тощая кобыла. Тяжелая телега представляла собой нечто вроде низкого эшафота. На эшафоте был крепко установлен обшарпанный, забрызганный бурыми засохшими каплями стул.

Палач на телеге неторопливо перемещался по городу и “брал” детей то ли наугад, то ли по списку. Если и существовал список, то непонятно, по какому признаку в него заносили. Палач мог забрать и непослушного, неумытого мальчишку, и примерную девочку, которая в школе училась только на “отлично”.

Он останавливался у очередной калитки и бесцветным голосом, негромко называл имя. И дети шли. Почему-то никому

не приходило в голову попытаться убежать, спрятаться, никто не сопротивлялся. Палач – небритый плюгавенький мужичок в мешковатом сером кителе и плоской полувоенной фуражечке – усаживал мальчика или девочку на стул, приматывал к спинке веревкой. И ласково спрашивал:

– А шея-то у тебя чистая?

Жертва почему-то обязательно кивала и торопливо говорила, что да, конечно, чистая.

– Вот и хорошо. Я сейчас, это быстренько… – И вытягивал из-под кителя не то меч, не то саблю – широкое лезвие вроде пилы, с зубчиками по одному краю. И с пятнами ржавчины.

Что делалось дальше, я ни разу не видел. Видел только кобылу, которая сонно поматывала головой, а потом вдруг вздрагивала и коротко ржала…

Я знал, что каждый час этот дядька с ржавой пилой может приехать и за мной. И я тоже пойду – вялый от страха и покорный – и никто не заступится: ни мама, ни брат, ни сестра, ни соседи. Потому что *так надо.*

А Пашка Шаклин (в этом же сне) говорил с оттенком гордости:

– Меня он тоже, наверно, вызовет. Только привязывать к стулу не будет. Я пионер. Пионерам полагается умирать стоя…

Интересно что на самом деле он тогда еще не был пионером. В ту пору мне исполнилось пять лет, а Пашка только-только пошел во второй класс…

Этот сон я видел несколько раз, и в нем страшнее боязни за себя было ощущение всеобщей покорности, всевластия злой силы…

Было у сна и окончание. Неожиданное. Палач поселился у нас в квартире, в проходной комнатке, которая называлась “прихожая”. До войны там жили то моя сестра Миля, то мой дядюшка – дядя Боря, а во время войны мама стала сдавать ее квартирантам. Квартиранты не всегда доставались по выбору. Порой начальница домоуправления Устюжанина приводила кого-то из эвакуированных, и тут ничего не поделаешь – приказ.

Видимо, Устюжанина и прислала этого дядьку с пилой (во сне). А кобылу и телегу поместили в сарае, вместе с коровой Таисии Тихоновны.

Я понимал, что ни меня, ни Пашку такой поворот событий не спасет. Пускай палач – наш квартирант, это ничего не меняет. Он не будет относиться к нам по-соседски, если мы окажемся в *том* списке.

Когда палач куда-то ушел, я пробрался в комнатку и увидел в углу за печкой-голландкой тот самый *инструмент* . Оглядываясь

и обмирая, вытащил я его на свет – за деревянную с медными клепками ручку (похожую на ручку большого кухонного ножа). Я понимал, что без *этой штуки* палач уже не палач.

На плоском железе были коричневые пятна, и я заставлял себя думать, что это просто ржавчина.

Озираясь, я поволок меч-пилу через широкий солнечный двор. В этой солнечности не было добра, наоборот. Резко звенела тишина, ноги не слушались. Но я тащил, тащил зубчатое лезвие за рукоять. Двумя руками. Скорее, скорее…

У дальнего забора было дощатое строение – общая уборная с двумя дырами в широком помосте. В такую дыру я и опустил орудие палача. Лезвие сразу ушло в вонючую жижу, а деревянная ручка держалась еще секунды две, потом с чмоканьем исчезла.

Совсем ослабевший, но счастливый, я спиной вперед выкатился из будки, упал на спину, поднялся и услышал, как чирикают воробьи. И пошел в дом.

Плюгавый палач сидел в проходной комнатке на кровати и скручивал “козью ножку”. Поводил по ней языком и миролюбиво сказал:

– Ну и утопил. Ну и чё? Надо будет, другой дадут… Да я и не работаю уже, уволился. Потому что дело это уже закончено.

Я испытал большущее облегчение. Пошел в нашу комнату, а на пороге обернулся и бесстрашно показал отставному палачу язык. Тот укоризненно покачал головой.

“А куда теперь лошадь-то денется?” – подумал я.

И на этой вопросительной нотке сон кончился. Навсегда. Больше я ни разу не видел плюгавого дядьку с его ржавым зазубренным лезвием. Но в памяти он остался на всю жизнь. И теперь кажется, что это был не сон, а кусочек реальности. Может быть, той реальности, которая существует в параллельном мире.

Раз уж речь зашла о страшном, есть смысл рассказать о существе по имени Тихо.

По утверждению взрослых, оно невидимо жило в нашей квартире и могло “забрать” меня, если буду капризничать. Куда “забрать” и зачем, было непонятно и от этого еще более страшно.

Появился Тихо, когда мне было около трех лет. Следующим образом. Говорят, я ревел и не хотел ложиться спать и кто-то из взрослых – то ли мама, то ли сестра – сказал с угрожающей ноткой:

– Ну-ка, не реветь! Ти-хо…

В моем младенческом сознании это слово, замешанное на непонятной угрозе, вдруг превратилось в чудовище, которое готово схватить меня, если не стану хорошим.

– Не надо Тихо! Я его боюсь!

– Тогда спи!

Надо сказать, что взрослые потом довольно эгоистично использовали мой страх перед загадочным и ужасным Тихо. В трех-четырехлетнем возрасте Тихо был кошмаром моей жизни.

– Если не будешь слушаться, позову Тихо!..

И каково мне было оставаться в доме одному, когда все уходили – кто на работу, кто в школу или в техникум! Даже за дощатой стенкой у Шаклиных была тишина. Только отчетливо стучали ходики в прихожей… Правда в ту пору мне было уже пять лет и я знал, что “никакого Тихо не бывает, его придумали, когда ты был маленький, чтобы не капризничал”.

– А теперь тебе уже шестой год! Как не стыдно бояться таких глупостей!

– Я и не боюсь!

Я и не боялся. Пока был дома не один. А когда все уходили, начинал прислушиваться: кто там возится и пыхтит под кроватью?

А один раз я видел Тихо! В натуре!

Было мне тогда года четыре. Я проснулся слишком рано и почему-то захныкал. Мне сказали (не помню, кто):

– Ну-ка, спи! Нельзя еще вставать. А то Тихо как вылезет из-под кровати…

Соседняя кровать, на которой спала сестра, стояла в углу у окна. Я видел ее с торца, сквозь прутья своей кроватной спинки. Под кроватью сестры было темно. И вдруг темнота зашевелилась. У пола, между железными ножками, проступило смутно-белое повернутое на бок громадное (в полметра!) яйцо. На нем были круглые зеленые глаза. Очень живые и какие-то плотоядно-любопытные. Глубоко сидящие в мякоти этой белой головы. А под головой-яйцом виднелись плечи, обтянутые синей, в мелкую белую полоску рубашкой. Я понял, что Тихо лежит на животе и приподнял верхнюю часть туловища, чтобы взглянуть на меня.

Я отчаянно завопил.

Случился переполох. Мне стали доказывать, что никакого Тихо нет, даже отодвинули кровать.

Но какое там “нет”, если я его только что отчетливо видел!

Никто не мог убедить меня тогда, что это было нечто вроде сна…

Окончательно бояться Тихо я перестал лишь годам к шести.

А однажды, уже в пожилом возрасте мне в голову пришли сразу две догадки.

Во-первых, та, что Тихо на самом деле существовал, хотя взрослые полагали, будто придумали его.

Во-вторых, та, что Тихо был не зловещим, а добродушным существом, некто вроде домового. И пугали меня им напрасно. При иных обстоятельствах я мог бы с ним и подружиться.

Эта мысль появилась у меня поздно вечером, когда я в одиночестве полулежал на диване с рюмкой коньяка. И едва она (мысль, а не рюмка) оформилась, мне показалось, что под диваном кто-то запыхтел.

– Тихо! Это ты, старик? – догадался я.

Он вздохнул и проворчал (телепатически):

– Наконец-то ты начал думать обо мне прилично…

– Лучше поздно, чем никогда, – пробормотал я виновато.

– Оно конечно…

– А ты… как живешь-то?

– Я живу тогда, когда ты про меня вспоминаешь. И каждый раз обидно…

– Ну, прости. Теперь я буду вспоминать тебя иначе. И чаще…

Тихо засопел благодарно. В самом деле, симпатичное и незлопамятное существо.

– Хочешь выпить?

– Ну, давай. Только я мысленно, символически. Тут, под диваном…

– Можно и так…

Мы выпили. Я из рюмки, Тихо – по-своему. И потом мы еще болтали о том, о сем…

Хотите верьте, хотите нет.

5. 04. 97

Вчера поздно вечером комета Хейла-Боппа висела высоко на северо-западе во всей своей красе, в пышности своего хвоста. В черном небе среди звезд. Ирина посоветовала смотреть на нее не прямо, а чуть в сторону, “боковым зрением”, тогда шлейф кометы делается заметнее. Я попробовал. Правда, его стало видно еще лучше – длинный, пышный.

Хороша комета и тогда, когда смотришь в трубу, очень четко видно ядро.

Я снял комету видеокамерой – для потомства.

На улице набирает силу апрель – безоблачно, солнечно, хотя еще и не очень тепло…

В детстве такая погода была связана с переходом от валенок к ботинкам (правда, по календарю это случалось раньше; нынче весна запоздала на месяц). Ботинки были, обычно, новые – прошлогодние к весне делались малы. Новые башмаки пахли обувным магазином, кожей – “по-ботиночному”. Такой запах всегда был связан с весной…

А еще весна всегда была связана с корабликами из сосновой коры. Мачты-лучинки, паруса из клетчатых тетрадных листков. Зигзаги солнца в лужах. Это было моим первым приобщением к парусам. Впрочем, про такие кораблики я много писал в своих книжках.

Корабликами, парусными соревнованиями в период разлива весенних луж горячо жил весь квартал. Помню свой маленький триумф. Было это, по-моему, весной сорок шестого года. Я жил тогда “официально” на Смоленской, но чаще обитал у сестры, на прежней квартире. Мне удалось однажды выстругать и оснастить такой кораблик, который обходил всех, “как стоячих”. До моего появления самое быстрое суденышко было (как ни странно!) у моей соседки-ровесницы Галки Ковальчук. Но его рекорды сразу поблекли перед достижениями моего парусника.

…А какие ручьи бежали вдоль дороги! Говорливые, неутомимые…

Сейчас мальчишки делают кораблики из пенопласта. Подходящий материал. Но таких бурных парусных игр я в нынешнее время не видел…

Наш двор был обширен. Кроме двух домов, стоял в нем двухэтажный сарай – внизу были дровяники и стайки для коров, наверху – сеновалы. К торцу большого дома примыкал кирпичный магазинчик, “хлебный распределитель”, где во время войны по карточкам выдавали хлебные пайки. На дворе всегда толпилась очередь из “нездешних” людей. Чтобы покончить с этим беспорядком, Иван Георгиевич – главный среди всех жильцов нашего двора человек – однажды огородил участок вокруг магазина бугристыми, покрытыми корой досками. Тогда я впервые услышал слово “горбыль” и понял, что название это от того, что доска г о р б а т а я…

Получился дворик внутри большого двора. Вход в него был отдельный, с улицы Дзержинского. Теперь очередь не мешала тихой суверенной жизни нашей о г р а д ы. Да, я писал уже где-то, что двор на ребячьем языке назывался “ограда”.

В дальнем углу двора находилась огороженная досками помойка. Она мне вспоминается в связи с одним забавным случаем: как я приобщился к французской кухне.

Дядя Боря в ту пору только-только выписался из больницы, где лечился от дистрофии. Был он очень худой и всегда голодный. Однажды по двору пошел слух, что Борис Петрович спятил: собирает в сумрачном углу за помойкой поганки, варит их и ест с картошкой. Мужчины пожимали плечами, сердобольные соседки пытались дядю Борю образумить. А он

лишь усмехался.

Мне дядя Боря разъяснил, что грибы, которые местные необразованные жители считают поганками, на самом деле вполне съедобны и даже очень вкусны. Они называются “шампиньоны” и во Франции считаются лакомством. А уж французы-то понимают толк во вкусной еде.

Я поверил не сразу. Даже когда мама подтвердила, что дядя Боря прав, я сомневался. Тем более, что название какое-то подозрительное, похоже на слово “шпионы”. И когда дядя Боря предложил мне попробовать жареную картошку с грибами, я осмелился не сразу. Но голод, постоянно сидевший внутри пятилетнего пацаненка военной поры, оказался сильнее опасений. Я съел ложку, другую…

По правде говоря, вкуса шампиньонов я тогда не разобрал, вкус картошки и подсолнечного масла был сильнее. Но сам факт, что я ел “иностранную пищу”, давал мне повод гордиться собой. К тому же, я был рад, что не помер…

С тыльной стороны двор был огорожен серым дощатым забором. Очень высоким, щелястым и, по-моему, с ржавой колючей проволокой наверху.

В повести “Сказки Севки Глущенко” я писал, как ребята добывали из-за забора ржавые формы для булок и буханок и как играли ими.

Форм этих на дворе накопилось много. Иногда их даже клали в лужи – цепочкой, чтобы ходить не замочив ноги…

Запахи, порой долетавшие из пекарни, в голодные годы были просто пыткой.

С пекарней связано одно приключение из жизни старшего брата и его приятелей. Из их довоенного детства. Брат не раз излагал мне эту историю. Но о ней – в следующий раз. На сегодня и так написано много…

6. 04. 97

…Эпизод с пекарней, как говорится, имел место, когда брату было двенадцать лет, а мое рождение только намечалось.

Этот рассказ я слышал в нескольких вариантах: от мамы, от Сергея и даже от отца, когда гостил у него в Белоруссии. Передаю близко к словам брата – непосредственного участника.

Несколько пацанов, в том числе и Вотя Петров, забрались в сад к Ковальчукам. За яблочками. Мероприятие это имело чисто спортивный интерес, поскольку яблочки были мелкие, недозрелые и отвратительно кислые. Годились они лишь для того, чтобы стрелять ими из рогаток.

В саду “налетчиков” обнаружил незнакомый мужик. Те резво ударились в бега, но Вотя зацепился за сучок широкими сатиновыми трусами и был схвачен.

Попытки вырваться и сдавленные вопли типа “пусти, гад, а то пожалеешь”, не дали результата.

Дядька подтащил пленника к забору, грубой бесчувственной ладонью сорвал крапиву и выдрал беднягу в назидание остальным – тем, кто с замиранием души наблюдал за этой процедурой со спасительной высоты ближнего сарая.

Отпущенный Вотя с подвыванием кинулся на свою территорию, ощущая жжение тела и души. Души – даже больше, ибо он был уже в том возрасте, когда человек воспринимает подобные акции, как поношение чести и достоинства.

Вотя воззвал к отмщению. Приятели его поддержали, поскольку чувство коллективизма у пацанов тридцатых годов, воспитанных на героических фильмах и романтике гражданской войны, был весьма крепким. Не то что (увы!) у нынешнего поколения.

Прежде всего была проведена разведка: кто и откуда этот “буржуйский прихвостень”. До той поры его никто не видел.

Какое отношение мужик имеет к Ковальчукам и почему оказался в их саду, осталось невыясненным. Но зато было точно установлено, что он работает сторожем пекарни.

Двор Ковальчуков, как и наш, тыльной стороной примыкал к пекарне. Ее красный двухэтажный корпус с большими квадратными окнами как бы нависал над садовым забором.

В качестве рабочей гипотезы было принято предположение, что в этом сволочном дядьке сыграли сторожевые инстинкты: они увидел, как мальчишки забрались в чужой сад, не выдержал, проник со двора пекарни сквозь щель в заборе и распространил свои охранные функции на территорию Ковальчуков, хотя, казалось бы, какое его собачье дело?

Итак, принадлежность дядьки-злодея к штату пекарни была установлена. Далее логика массового сознания распространила ненависть с конкретного обидчика на пекарню в целом. Естественно, что “все они там такие”, иначе бы не стали брать в сторожа подобного негодяя.

Отряд из шести или семи снайперов залег на крыше двухэтажного сарая. Квадратные стекла пекарного цеха были видны наискосок – над забором и яблонями.

Рогаточный залп был сокрушителен. Осколки стеклянной метелью ворвались внутрь цеха. Послышались истошные вопли пекарей – жалобные и яростные. Сергей говорил, что они разносились над всем кварталом.

Отважные стрелки, не ждавшие такой реакции, разом струхнули. Скатились с крыши, упрятали оружие в надежный тайник и кинулись кто куда: на реку, в кинотеатр, домой – чтобы задним числом обеспечить себе алиби (“ал *и* би”, как говорил Вотя, чей папа работал начальником милицейского отделения).

Почти сразу ближние дворы начали прочесывать работники пекарни и милиционеры. Стало известно, что осколки после залпа густо посыпались в чаны с тестом, которые стояли под окнами. Ущерб был нешуточный. К тому же, в ту пору активной борьбы с “вредителями” стрелкам и их родителям могли приписать диверсию, направленную на подрыв благополучия советского народа. Запросто! Тем более, что с хлебом в ту пору (как и во многие другие времена) были трудности.

К счастью, виноватых не нашлось. Во всем квартале не видно было ни одного мальчишки.

– На реку усвистали, небось, окаянные, – говорили мамаши. – Нет чтобы дома помочь матери, целый день их не дозовешься.

– А мой в кино намылился пятый раз “Волгу-Волгу” смотреть, а у самого переэкзаменовка на осень…

Даже у Таисии Тихоновны возобладал, видимо, дворовый патриотизм, и она подтвердила, что “еще утром слышала, как мальчики собирались идти купаться”…

А интеллигентный мальчик Сережа в пионерском галстуке с блестящей пряжкой-зажимом (по форме того времени) тихо сидел у окна и читал книжку “Чапаев”.

– Вот этого писателя, – с улыбкой сказала слегка бледная мама и указала зашедшему милиционеру на портрет, с которого по-командирски смотрел комиссар Фурманов. Милиционер подтянулся и козырнул – он был рядовой. А по поводу мальчика Сережи – отличника и сына известного в городе педагога – не могло быть серьезных подозрений.

Но, если их не было у милиции, то у родителей были. У всех. Ал *и* би не получилось. Отцы (те, кто еще не был посажен) и матери очень быстро раскопали правду. Рогатки были изъяты и сожжены. Затем наступил “воспитательный час”. И по сравнению с ним полученная Вотей крапивная порция была все равно что комарик перед прививкой от скарлатины. Однако обычного в таких случаях рева и воплей “я больше не буду” из окон не слышалось. Воспитуемым было строжайше предписано “молчать и даже ни разу не пикнуть, а то хуже будет”. Мол, услышат посторонние, догадаются, за что лупят несчастных Борек, Витек и Вовок, сообщат “куда следует”, и тогда преступное деяние выплывет наружу. А это пахнет уже не ремнем, пострашнее.

Лишь самому младшему члену диверсионной группы

третьекласснику Вовке Шаклину было оказано некоторое послабление. Сложивши вдвое потертый, “еще папин” ремешок мать вздохнула и разрешила:

– Можешь визжать. Но только шепотом.

И Вовка визжал шепотом.

– Хотя это очень трудно, – жаловался он потом друзьям. – Попробуйте сами, узнаете.

Друзья пробовали визжать шепотом и признавали, что да, трудно. И жалели младшего соратника, хотя и сами для сидения на ступенях крыльца прилаживались с некоторым затруднением.

Только Сереже все сошло глаже, чем другим. Дело кончилось маминым подзатыльником (данным импульсивно, со страху). Отец же ограничился долгой воспитательной лекцией, прослушанной сыном в пол-уха. Он, наш папа, в педагогических вопросах придерживался принципов гуманизма.

7. 04. 97

Оружие

У брата Сережи был друг Виктор Ножкин. Он жил в деревянном двухэтажном (вернее, полутораэтажном) доме через квартал от нас, на углу улицы Челюскинцев.

В дошкольные годы для меня то место (до которого дошагать можно за полторы минуты), было уже чужой территорией, иным миром. Вроде как сейчас другой город. Идти “в гости к Вите” значило идти далеко.

А еще дальше лежали совсем неведомые (в ту пору) кварталы. Потом-то, в школьные годы, я изучил их до каждого домика, до каждой калитки. И удивительную резьбу карнизов, крылечек и парадных дверей, и неожиданные изгибы улицы, которая порой выходила на край нашего знаменитого лога и становилась односторонней… Я знал на память жестяные таблички домовладельцев (написанные еще с “ятями” и твердыми знаками). Помнил узоры железных дымников на печных трубах… Но все это уже тогда, когда я был “большим”. Школьником. А в первые годы жизни мне казалось, что родная улица уходит в неведомые дали.

Иногда судьба позволяла мне сделать в эти дали прорыв. Случалось, что кто-нибудь из приятелей Сергея сажал меня на раму велосипеда (чаще всего тот же Витя Ножкин) и катил далеко-далеко, аж до Перекопской улицы с ее Земляным мостом через лог. Там улица Герцена кончалась. Но я тогда в уличной топографии еще не разбирался. Просто, замирая от восторга и вцепившись в руль, – рядом с крепкими пальцами хозяина велосипеда – я мечтал, чтобы счастье подольше не кончалось.

Велосипед потряхивало, сидеть на твердой трубчатой раме было неудобно, но все же радость была великая!

Движение велосипеда было похоже на бреющий полет.

Я быстро плыл над немощеной дорогой и видел, как из-под шины переднего колеса убегает назад по пыли тонкий змеиный след. Его рисунок состоял из маленьких кружков, соединенных в двойную цепочку. На никелированном ободе дрожало слепящее отражение солнца. И на руле, и на круглом звонке – тоже. Мне иногда позволялось посигналить этим звонком…

Но, хотя и длинна была наша улица Герцена, счастье все равно рано или поздно кончалось. Чаще всего рано…

Вот уже едем обратно. Вот уже промелькнул крошечный домик с круглым “венецианским” окном (он и сейчас, по-моему, стоит там), вот и Витин дом проехали. Вот и наша серая калитка с чугунным кольцом и щеколдой… Как быстротечно в жизни все

хорошее…

– Слезай, не канючь. А то больше никогда…

Да, я помню этот велосипед с пахнувшим кожей седлом и сверкающими ободами.

Я вообще помню многие предметы, которыми были знамениты приятели Сергея и Людмилы.

Например, у Моти (Матвея) был похожий на маленькую гармошку фотоаппарат. Этим аппаратом сделаны некоторые мои детские снимки. Футляр у аппарата был черный, оклеенный чем-то вроде искусственной кожи, и с блестящим замком. Мне иногда его давали поиграть. И я воображал, что у меня в руках тоже аппарат. Ставил футляр на сложенную для моего роста треногу от Мотиной фотокамеры, накидывал на голову мамин платок.

– Внимание, снимаю!..

А у Милиной подруги Вали Елькиной был патефон. А еще у какого-то Сережиного приятеля – бинокль.. Мне однажды дали в него посмотреть, но я ничего не увидел от возбуждения…

Только у нас ничего не было. Родители всегда еле сводили концы с концами. К тому же, перед войной нашу квартиру обокрали. Из вещей, которые можно было считать относительно ценными, остался лишь папин письменный прибор из серого мрамора…

Зато у Сережи был пистолет-поджиг, который стрелял зарядами из спичечных головок.

Поджиг был сделан любовно. Ручка обточена, и на щечках ее вырезана тонкая решетка, чтобы оружие не скользило в ладони. А ствол из медной трубки был прикручен к рукоятке проволокой очень аккуратно – виток к витку.

Иногда Сережа и Володя Шаклин (если никого из взрослых не было дома) уходили на кухню стрелять из поджига. Я смотрел на это издалека, сквозь раскрытые двери проходной комнаты, потому что боялся выстрелов. Зажимал уши. Но даже сквозь прижатые к ушам ладони удар выстрела ощутимо толкался в барабанные перепонки. И был синий дым. И подпрыгивал на старинной тумбочке пузатый самовар Шаклиных. А Сергей и Володя, сталкиваясь головами, разглядывали очередную дырку от пули в могучей двери, которая вела из кухни в сени.

Со временем этих пробоин от самодельных пуль накопилось много. Будто следы от древоточца. Дверь никогда не красили, и эти дырки сохранились, видимо, до последних дней существования дома. Так же, как следы моего детского рисунка мелом.

В сорок третьем году, обрадованный очередной победной сводкой Совинформбюро, я изобразил мелом на кухонной двери

громадную медаль “За отвагу”. С надписью. Писать печатными буквами я тогда уже умел. Никто этот рисунок не тронул. Ни тогда, ни долгие годы спустя.

Даже через двадцать с лишним лет, когда я заходил в гости к Шаклиным и снимал крохотной любительской кинокамерой тетю Лену, слабые контуры мелового рисунка еще были различимы на обшарпанной древней краске могучих досок. И пробоины тоже…

С той поры я внутри родного дома не бывал. Шаклины переехали, дядя Боря тоже, не к кому стало заходить. А потом дом снесли. Вместе со всем кварталом. Вместе с пекарней, от которой так заманчиво пахло в годы хлебных карточек (и с которой была связана драматическая история выбитых окон).

…Я все время отвлекаюсь. Написал заголовок “Оружие”, а сам…

Ну так вот. Поджиг Сергея был знаменит среди мальчишечьего населения квартала. Но Сергей рассказывал потом, что еще больше знаменит был крупнокалиберный поджиг Вити Ножкина.

Свою огнестрельную систему Витя Ножкин (опять же по словам брата) собирал и отлаживал неторопливо и со знанием дела.

Затем наступило время испытаний.

Витя решил, что здесь нужны не спички, а серьезный заряд, и стянул у отца некоторую дозу черного охотничьего пороха.

Испытывали вдвоем с Сергеем, в просторном сарае, который служил дровяником и кладовкой. Нервничали, конечно, ибо первая проба оружия всегда связана с риском. Мало того, атмосфера была даже слегка зловещая. Благодаря одному необычному обстоятельству. В полуподвальной каморке Витиного дома обитала древняя старушка, которая, предусмотрительно готовясь к кончине, заказала себе гроб и хранила его в сарае. Это некрашеное крепкое сооружение стояло у дальней стены вертикально, в открытом виде. Крышка – отдельно. Крышка прислонялась не к стене, а к торчащей из стены балке – верхним краем.

Оструганное дерево светилось в полумраке неуютно, “напоминающе”. И жизнелюбивый Витя испытал прилив раздражения.

– Устроила тут похоронную контору! Всё помирать собирается, а еще нас переживет… – И вместо того, чтобы целиться в поставленную на чурбак жестянку, вдруг навел оружие на крышку гроба.

– Обалдел? – перепугался Сергей.

– А чего! Давай посмотрим, пробьет ли доску!

– Тебе отец… башку пробьет! Или другое место…

Но Витя уже чиркнул коробком о спичечную головку запала.

Выстрел оглушил испытателей и вызвал панику среди гулявших на дворе кур. К счастью, в доме никого не было, кроме упомянутой выше старушки, которая страдала глухотой.

Когда рассеялся дым, Витя и Сережа кинулись смотреть: есть ли в доске сквозная дыра?

Дыры не было. Потому что н е б ы л о д о с к и. Пуля не пробила крышку гроба, но могучим ударом вышибла из нее доску целиком…

– Елки-палки… – озадаченно произнес Витя.

– Ох и влетит нам, – сумрачно предрек недалекое будущее Сергей.

– А ни фига, – отозвался Витя. – Ну-ка, берись…

Доску приколотили на место. При этом Витя ворчал, что никогда не мечтал быть гробовых дел мастером.

Потом крышку поставили пострадавшей стороной к стене, рассудив, что едва ли кто-то станет разглядывать ее изнутри. Разве сама старушка, когда ее положат и накроют. Но, во-первых, т а м все равно темно, а во-вторых, бабушке будет уже безразлично.

Оба стрелка испытывали прилив бодрости, словно совершили жизнеутверждающий подвиг, нанеся урон похоронному атрибуту.

– Однако хорошо, что не насквозь, – заметил Сергей.

– Чего хорошего, – огорчился его друг. – Значит, система слабая. Или заряд маленький. Надо попробовать еще.

Но продолжить испытание в тот день не удалось, домой вернулся кто-то из взрослых.

Нетерпение, однако, грызло Витю Ножкина, и, едва дождавшись следующего утра, он решил возобновить испытания – как только последний взрослый житель дома отправится на работу.

На сей раз Витя выбрал для испытания прочную дверь уборной, стоящей в глубине двора. Жахнул усиленным зарядом. И прямо с огневой позиции увидел, что пробоина – сквозная. Черная аккуратная дырка в верхней части доски.

Но любовался результатом огнестрельной мощи Витя всего пару секунд. Дверь медленно отворилась, и на дощатый тротуарчик головой вперед вывалился пожилой Витин папа. В совершенно недостойном отца семейства виде.

Впоследствии оказалось, что перед уходом в свою контору, Витин папа решил провести несколько минут в уединении и покое. А когда услышал грохот, напряженные нервы его (а тогда они у всех были напряжены) не выдержали. И Ножкин-старший

вывалился наружу, тяжестью тела сорвав на двери жиденький крючок.

Как ни перепуган был испытатель оружия, он все же сообразил, что пуля прошла слишком высоко и не могла зацепить присевшего там папу. Витя принес из дождевой бочки в пригоршне воду и вылил папе на затылок.

Отец не был склонен к долгим нервным расстройствам. Через минуту он, поддерживая брюки, гнался за любимым наследником по улице Герцена и кричал ему в спину слова, которые заставляли Витю на бегу болезненно шевелить лопатками…

Впрочем, Сергей говорил, что это лишь одна версия событий и он не отвечает за ее достоверность. По другой версии Витин папа не впадал в бессознательное состояние, а сразу после выстрела яростно вылетел из будочки и погнался за непутевым сыном. При этом успел огреть его выхваченным из брючных петель ремнем.

Вторая версия кажется мне менее живописной, но более реалистичной. Однако, как летописец, я считаю долгом изложить оба варианта того давнего события.

В тот день Витя не ходил домой и ночевал у Сергея. А через сутки его отец успокоился и, будучи человеком с юмором, уже похохатывал, вспоминая “покушение”.

А что касается результата выстрела, то он оказался даже эффектнее, чем Витя ожидал. Пуля пробила не только дверь, но и заднюю стенку (она была из фанеры). Всех желающих Витя водил к сортиру, чтобы доказать мощь своего оружия. Доказать его новыми выстрелами он, к сожалению, не мог, так как пистолет у него отец конфисковал. На всякий случай…

Старушка, обитавшая в нижнем этаже, говорят, пережила войну. И в суровые военные годы, когда не хватало дров, она пустила сухую домовину на топливо. Таким образом, в этой истории восторжествовало жизнеутверждающее начало. За полную достоверность данного факта я опять же не ручаюсь, но хочется верить, что все было именно так…

А Витя Ножкин, когда мой полупарализованный брат лежал в больнице, ушел на фронт. Это был уже период победных наступлений нашей армии. Однажды Витя прислал фотографию (она и сейчас хранится у моей сестры). Видимо, это лето сорок четвертого года. Витя стоит рядом с громадным, выше его, цветущим подсолнухом. Наверно, где-то в украинской деревне, во время отдыха между боями. В новенькой форме, в лихой пилотке…

Вскоре после этого Витя Ножкин попал под обстрел и ему оторвало ногу.

Он вернулся домой на протезе.

И вот какое горькое совпадение. Был у Вити брат Валя, моложе года на три, по-моему. На фронте он не был, работал после войны шофером. Однажды он с другими водителями зачем-то взялся выжигать в бочке остатки бензина. Бочка рванула, и Валентину тоже оторвало ногу. Стали братья одинаковыми инвалидами…

8. 04. 97

Оружие

…Став инвалидом, Витя не впал в мрачность. После войны он поступил в торговый техникум.

Сергей тогда вернулся из Одессы, где вместе с сестрой около года проучился в каком-то политехническом институте, а теперь, побывав дома, укатил в Белоруссию – работал в газете, помогал налаживать колхозы (часто вопреки желанию самих колхозников), иногда воевал с бандитами и влипал во всякие неприятности из-за чрезмерного молодежно-журналистского рвения. Однажды он написал в письме:

“Если Славка закончит учебный год без троек, подарю ему свой пистолет”.

– Этого еще не хватало, – сказала мама. И я с ней согласился. Уже мальчишкой я понимал, ч т о может быть за хранение боевого пистолета. Это вам не поджиг…

Впрочем, письмо было позже, в начале пятидесятых. А летом сорок шестого я по старой памяти забегал к Ножкиным в гости, рассказывал новости про Сергея. Витя встречал меня приветливо. Помню, что однажды они с братом показали новое охотничье ружье. И удивились: откуда я знаю его устройство?

Я сказал солидно:

– А чего такого. У отчима есть похожее. “Тулка” двадцатого калибра.

– Ты, небось, уже стрелял из нее?

– Я из своего ружья стрелял. У меня есть берданка.

Я не врал. Заботясь о мужском воспитании пасынка, которому “уже скоро восемь”, Владимир Эдвинович Кун – охотник и зверовед – раздобыл для меня ружьишко. Из списанного гладкоствольного оружия, которое каким-то образом оказалось то ли в охотничьем обществе, то ли в конторе “Заготживсырье”.

Это была старинная японская винтовка с рассверленным под двадцать восьмой калибр и сильно укороченным стволом (так что именовать ее “берданкой” было неправильно, винтовки Бердана были американские; но название “берданка” к моему ружьецу прилипло). Приклад был тоже укорочен – как раз для меня.

Патронник был расточен не под стандартный патрон длиной в 70 миллиметров, а под уменьшенный – 65. Гильза такого стандарта нашлась лишь одна.

Затвор был похож на затвор русской трехлинейки, только шарик на рукоятке – более крупный и продолговатый. Выбрасыватель гильз на затворе не работал. После каждого выстрела приходилось гильзу выбивать шомполом.

Отчим вставлял в гильзу капсюль и давал мне пальнуть только этим капсюлем, без пороха. Грохот, однако, (видимо, за счет резонанса в пустой гильзе и стволе) получался изрядный. После первого выстрела я крепко струхнул и потом, перед каждым новым выстрелом, отчиму приходилось уговаривать меня “быть мужчиной”. А я не мог решиться нажать спуск. Даже ревел. Надо мной смеялись соседские девчонки Галка и Лилька, но я все равно боялся…

Так моя берданка и не послужила основной цели, охоте. В конце концов я ее развинтил. Затвором играл как пистолетом (он со своей рукояткой слегка похож был на маузер), а лишенное затвора ружьецо тоже использовал как игрушку – когда у нас с ребятами была “война”. А потом зачем-то отвинтил ствол от приклада, и он долго валялся, ржавел в кладовке…

Став постарше, бояться выстрелов я, конечно, перестал. И много раз палил уже не из инвалидной берданки, а из полновесной двухствольной тулки.

Но вот что примечательно: я так и не научился стрелять по живым целям…

Юрий Нагибин в своей “Книге детства”, в каком-то рассказе пишет, что будучи мальчишкой никак не мог попасть из рогатки в живое существо. Целился, казалось бы, добросовестно, однако в последний миг рука непроизвольно дергалась, посылая снаряд мимо цели.

Со мной, видимо, случалось то же самое. Бывало, что я старательно наводил рогатку на воробья, и, вроде бы, промахнуться крупной щепотью дроби было невозможно. Но дробины выбивали фонтанчики пыли рядом с птицей, а на ней не задевали ни перышка. То ли судьба хранила меня от бессмысленного душегубства, то ли толкала рогатку моя подсознательная жалось к серым пичугам.

Кстати, все мальчишки тогда почему-то называли воробьев жидами. “Жиды” – и никак иначе. Даже Семка Левитин так говорил. Слова “воробей” просто не было в обиходе. Однажды я поинтересовался у приятелей: почему так? Кто-то из старших мальчишек (не помню, кто, но помню его авторитетный тон) разъяснил:

– Когда евреи прибивали к кресту Иисуса Христа, эти вот “воробушки” подносили им гвозди.

Я сказал, что этого не могло быть. Христа распинали большими гвоздями. Я это видел на старинных открытках, которые зимними вечерами украдкой показывали мне соседки-квартирантки Зыряновы – девочки Римма и Аля.

– Воробей такой гвоздь и не поднимет даже!

Рыжий Толька Петров сказал, что я шибко умный.

Я сказал, что он шибко рыжий.

– А ты Кун дырявый!

Почему дырявый, непонятно. А Кун – из-за фамилии отчима.

Полное прозвище звучало ужасно оскорбительно: Слабый Кун. Меня наградила им мелкая шпана, когда я переехал с Нагорной на улицу Грибоедова, в начале пятидесятого года. Однажды я рассорился с этой компанией во время игры в чику и отстоять себя во время драки не сумел. Тем более, что эта пацанва, не брезговавшая курением, матом, уголовными замашками и мелким жульничеством, не ведала мальчишечьего кодекса, где сказано: “Всем на одного не кидаться, со спины не нападать, лежачего не бьют”. Я был объявлен слабачком.

Не все там были такие, с некоторыми я даже дружил, но шпана верховодила (смотри рассказ “Вечерние игры”). В общем, заработал я гнусную кличку. Причем, она часто звучала не только сама по себе, а и в песенке, исполняемой злорадными глотками:

С-сылабый Кун, куды-да ж ты п-пырешся,

Что ты дома не е…

Или тебе мамка не дает?

Они терроризировали меня чуть ли не до десятого класса. Хорошо, что была еще улица Герцена со старыми приятелями, среди которых даже рыжий Толька по сравнению с “грибоедовской” шпаной казался милым и добродушным. (Кстати, инцидент с “дырявым Куном” мы разрешили в короткой бурной стычке и после к нему не возвращались). Надо сказать и то, что после двенадцати лет мы с Толькой уже не ссорились и не дрались.

Шпана особенно приставала, когда надо было идти через лог и соседнюю улицу к сестре – она жила недалеко от вокзала, снимала с мужем Колей и дочкой Иринкой комнату в хибаре над логом.

Догоняли, приставали, навязывали безнадежные для меня драки.

В конце концов (в восьмом классе) я сделал крупных размеров и большого калибра пистолет-поджиг со стволом из толстой медной трубки. С зарядами проблем не было, отчим не прятал от меня свои охотничьи припасы.

Я, “доведенный до ручки”, решил, что, если нападут опять, жахну прямо в середину шайки.

Судьба, слава Богу, сберегла меня и в этот раз. Жахать не пришлось. Недруги заоглядывались и отступили, когда я вынул из-за пазухи свой “парабеллум”.

Интересно, кем бы я был теперь (и был ли вообще?), если бы сдуру выпалил тогда и попал в кого-нибудь? Едва ли спасся бы от колонии для малолетних, а из нее путь известный… В результатах попадания сомневаться не приходилось. Когда я испытывал дома эту “систему” (ради безопасности – не с руки, а пристроив на стуле), пуля попала в двухдюймовую дубовую доску от старого улья, неизвестно как оказавшегося в нашем чулане. Она прошила крепчайшую древесину почти насквозь, наткнулась на сучок и расплющилась внутри дерева в плоскую плямбу. А поджиг улетел в дальний угол.

Кстати, стрелял я в комнате. А в соседней комнате спал отчим. Он не проснулся от грохота. Или не счел нужным реагировать. Он хладнокровно относился к моим огнестрельным экспериментам.

А в тот вечер, после демонстрации оружия врагам, я еще раз “прокрутил в мозгах” происшедшее и запоздало ужаснулся возможным последствиям. И поклялся больше с “этой штукой” на улице не появляться.

Конечно, и в том случае рука в последний момент могла дернуться в сторону. Но ведь парней-то была куча: зацепило бы не одного, так другого…

Да, к счастью так вышло, что не убил я ни одного живого существа крупнее таракана. А ведь и на охоту ходить случалось. С отчимом, с соседом Михаилом Васильевичем (бабником и пьяницей, но добрым мужиком). И даже несколько раз стрелял по взлетевшим из камышей уткам. Мимо, конечно, хотя и думал, что хочу попасть…

Одна наша охота с дядей Мишей запомнилась мне, как история, состоявшая из сплошных неудач.

Был сентябрь, и было мне, как помнится, пятнадцать лет. Мы в середине дня отправились на какое-то озеро. Не помню, на какое, знаю только, что по Червишевскому тракту. Взяли ружья, рюкзаки с едой и одеялами и фанерный садок с нашей подсадной уткой Настей. Ноша была немалая, а путь – километров двадцать…

Выйдя за город, мы поголосовали нескольким машинам, но те обгоняли нас не снижая скорости и обдавая бензиновым дымом.

Дядя Миша шепотом матюкался и шагал на своих длинных ногах, по-петушиному дергая головой на худой морщинистой шее. Я старался не отставать, путаясь в широченных отогнутых голенищах сапог отчима.

Километрах в пяти от города нас догнала новенькая черная “Победа”. Без всякой надежды дядя Миша вскинул руку. “Победа”

притормозила рядом с нами, я увидел через стекло холеное лицо водителя. Тот глянул на нас, на сидевшего рядом пассажира, оба рассмеялись, и автомобиль рванул вперед, взметнув брызги из размытой колеи.

– Чтоб тебе, паразиту, шину проколоть! – сказал дядя Миша и добавил еще несколько слов.

И блестящая черная “Победа” проколола шину. Мы догнали ее через полчаса. Машина стояла у обочины, шофер и пассажир угрюмо возились с домкратом и запаской. Сделали вид, что не замечают нас. Мы их тоже “не заметили”. Но, конечно же, даже наши спины выражали злорадное торжество.

Однако это была наша единственная (да и то относительная) радость в той охотничьей эпопее.

К озеру мы пришли под вечер. Дядя Миша рассчитывал переночевать в известной ему охотничьей избушке, а на зорьке выбрать на берегу место и пострелять уточек, когда у них начнется утренняя тяга.

Избушку мы нашли, но оказалось, что в ней обитает артель мужичков, занятых на озере рыболовным промыслом. Нас ночевать они не пустили, отговорившись тем, что все места на нарах заняты, а им завтра рано вставать на ловлю, поэтому ночью они должны спать нормально, а не в тесноте и духоте.

– Так что уж извините…

Мы “извинили”, потому что ничего другого не оставалось. Хотя поведение рыбаков было грубейшим нарушением охотничьих обычаев и гостеприимства. Тем более, что избушка принадлежала не им, а была построена для всех.

Когда мы отошли, дядя Миша пообещал “поджечь эту хибару вместе с этими сволочами”. Но ничего он, конечно, не поджег. Ночь мы провели у костра, кутаясь в одеяла. Несмотря на огонь было зябко, я почти не спал. И не чувствовал никакой романтики.

На рассвете мы устроились в береговых кустах. А перед этим, зайдя в воду насколько позволяли сапоги, высадили в тростнике Настю. Привязали за лапу к торчащей из воды жерди. Настя по долгу своей службы должна была кряканьем подманивать диких селезней. Однако ей, видимо, эта коварная роль была не по нутру. Крякала она редко и лениво. Ни один селезень не сел, хотя несколько раз темные птицы проносились над нами. Раза два мы выпалили по ним, но с опозданием и без всякого результата.

Было холодно, влажно, пахло болотом. Меня не оставляло ощущение, что я трачу время бездарно и скучно. Даже чистое солнце, вставшее над озером, не обрадовало меня.

Наконец дядя Миша (к моей тайной радости) сказал, что “ни черта мы тут больше не высидим”. И мы пошли доставать Настю,

которая последние полчаса, укрывшись в тростнике, вообще не подавала голоса.

Насти не было. Была только привязанная к жерди веревочка.

Поиски не принесли успеха.

И мы побрели обратно – не только без добычи, но еще и понеся потерю. Я волок на ремне пустой Настин садок. И предвидел объяснения с отчимом. Хотя в общем-то виноват был дядя Миша – он считался главой экспедиции и он привязывал Настю…

От большой досады на полпути, у старого деревенского кладбища, мы несколько раз выпалили по воронам, которые галдели в вековых березах. И опять не попали. Да и не было желания попасть. У меня-то уж точно…

Минут через пятнадцать, шагая за дядей Мишей с тулкой под мышкой, я обнаружил, что стволы смотрят ему в спину, и торопливо отвел их. Не я отвел – судьба. Потому что левый курок был взведен и в левом же стволе оказался невыстреленный патрон. Как это могло случиться, не понимаю до сих пор. Воспитанный отчимом в строжайших правилах ружейной безопасности, я всегда эти правила выполнял скрупулезно. Что в те минуты на меня нашло? Как я мог забыть о курке и патроне? Неловкое движение, и… жутко представить, что было бы дальше.

Я украдкой сунул патрон в патронташ на поясе и мягко спустил курок. Дядя Миша ничего не заметил.

…Удивительно, что отчим ругался из-за Насти не сильно. Вернее совсем не ругался, а только горько иронизировал по поводу моей охотничьей бездарности.

Сильно была огорчена мама. Она любила Настю. Та жила на кухне, в деревянной клетке, и почти каждое утро приносила яичко. Оно было по форме длиннее куриного, а по вкусу не отличалось.

Я тоже жалел Настю. Своим глупым бегством она обрекла себя на гибель. С дикими собратьями она, домашняя, улететь на юг не сумеет. И ждет ее судьба известной Серой Шейки, только без счастливого конца…

Поход с дядей Мишей был моей предпоследней охотой. А последней – неудачная попытка добыть зайца. Это случилось уже в десятом классе. Был ноябрь, выпал снег. Отчим сказал, что недалеко от города, в леске за аэродромом, его приятели видели на свежем снегу много заячьих следов. И посоветовал мне и моему другу Валерию Федюкину сходить туда, испытать охотничью удачу.

Мы пошли на лыжах, прихватив заслуженную тулку отчима и

патронташ. Выбрались за город, на край аэродрома, и сдуру направились было к синеющей вдали полоске леса через заснеженное лётное поле. Какой-то дядька в тулупе – в полуверсте от нас – выпалил ракетой и замахал флагом: валите, мол, в сторону, идиоты. Мы отвалили. А то еще заберут куда-нибудь…

В перелесках и на краю замерзшего, покрытого снегом болота мы и в самом деле видели заячьи следы. Но самих зайцев не было. И хорошо. Потому что позади охотничьего азарта скреблась мысль: а что если и правда попаду? И тогда придется нести пушистое окровавленное тельце, которое недавно было живым милым зверьком.

Вероятно, Валерий чувствовал что-то похожее. По крайней мере, досады по поводу отсутствия дичи не проявлял.

Не найдя добычи, мы на лесной поляне подобрали ржавый котелок, поставили его на пень и выпустили по нему с десяток зарядов. Это дало отчиму справедливое основание для недовольства: зря извели столько патронов!..

Кстати, ни Валерий, ни я ни разу по котелку не промахнулись.

Я вообще тогда стрелял прилично: ходил в секцию ДОСААФ, участвовал в соревнованиях и даже заработал второй спортивный разряд.

А в более ранние годы весьма метко стрелял из рогаток и самодельных луков по мишеням, аптечным пузырькам и нарисованным на заборах фашистам. Но охотником не стал.

А вот Юрий Маркович Нагибин стал. Несмотря на то, что в детстве у него тоже дергались руки, уводя выстрел от живой цели.

Я не осуждаю его. Как не осуждаю и других охотников, среди которых есть прекрасные люди. Но понять их все-таки не могу. Ну ладно, если охотятся ради пропитания, это понятно. Но ведь в наше время человеком больше движет не голод, а охотничий азарт, азарт убийства. И это при любви к природе, которую охотники (в том числе и писатели) с таким вкусом декларируют! Как можно восхищаться весенним закатом, разноцветными облаками, распустившими сережки березами и тут же выстрелом выбивать из этого пейзажа его органическую часть – пронесшиеся силуэты уток? По-моему, вся красота рушится от этого грохота, от боли живого существа, которое кровавым комком летит в осоку…

Сперва отвращение к убийству и любовь к оружию как-то уживались во мне. Потом эта любовь поостыла. На больших военных сборах в 1969 году, когда уральских резервистов гоняли аж до китайской границы, в Биробиджан, я даже не снял смазку с выданного мне “макарова”. Так и протаскал этот ПМ в кобуре, не

вынув из промасленной бумаги. И наотрез отказался от автомата, хотя всем командирам взводов настоятельно рекомендовали получить их. “Поскольку возможны пограничные инциденты, товарищи офицеры”, – строго предупреждал похожий на матадора, с чеканным испанским профилем особист, тоже призванный из запаса и уверенный в крайней важности своей миссии.

Кроме покрытого смазкой “Макарова” мне и моему взводу выдали два миномета времен Великой Отечественной войны. От них отказаться было уже нельзя, ибо взвод числился именно минометным. Мин, правда, не дали. И слава Богу! Как обращаться с минометом, я понятия не имел. На военной кафедре в университете я изучал (без всякого прилежания) старинную 122-мм гаубицу. Мои подчиненные тоже были вояки так себе. Один даже ухитрился потерять автомат, из-за чего у меня с начальством были всякие объяснения. К счастью, потом автомат нашелся.

Один миномет тоже потерялся. Только не у меня, а в соседнем полку. Крику было… Нашлось ли это грозное оружие, я не знаю.

Сейчас думаю: а если бы, не приведи Господь, случилось то, что предрекал строгий особист (тень острова Даманского тогда ощутимо витала над нами)? Что бы я делал тогда со своими двумя “самоварами” и их расчетами, которые при любом удобном и неудобном случае валились спать в кусты или устраивались забивать козла на специально припасенной фанере (этот фанерный лист они берегли пуще любого военного имущества). Более дурацкое мероприятие, чем те сборы, трудно представить. При полной неразберихе, колоссальных затратах и тысячах испорченных людям летних отпусков это, по слухам, стоило еще и нескольких жизней – результат несчастных случаев, неизбежных при передвижении громадных человеческих масс и техники под высоковольтными проводами железнодорожных путей…

У меня весь тот месяц было самое гадкое настроение. Дело в том, что я с “Каравеллой” должен был ехать в Ригу, на ребячью игру “Нептун Балтийского моря”. А вместо этого меня отправили “пугать китайцев” (то-то они испугались!).

Впрочем, один раз действительно чуть не вышло испуга. Уже на месте дислокации, под Биробиджаном, на громадной территории, где бестолково разворачивалось и передвигалось фантастическое количество “частей и подразделений”, я на своем ЗИЛе с прицепленным сзади минометом заблудился. Вернее, заблудился мой водитель. Мы оказались среди совсем незнакомых военных группировок. Никто не мог толком сказать,

где наш славный N-ский полк.

В машине был радист, он уловил в треске и бестолковости эфира какие-то указания, якобы предназначенные для нас. Следуя этим указаниям, мы промчались по тракту около сотни километров и выскочили на берег широкой реки.

Помню плоский береговой песок, размах серой воды и желтое небо.

Дальше в прямом смысле ехать было некуда. И к нам с воплями мчались “погранцы”.

– Вы откуда, черт вас возьми?! Сумасшедшие или с перепоя? Ты что, лейтенант, войны захотел?!

Я зачертыхался в ответ и сообщил, что война нужна мне, “как ж… острый гвоздь в диване”.

Оказалось, что река – это Амур. А за ним – Китай. Который вполне мог принять наш лихой выезд с минометом на берег за подготовку к обстрелу, переправе и вторжению. Пограничники посочувствовали моим невзгодам и посоветовали катить обратно “с той же скоростью, пока не появилось высокое начальство”.

И мы покатили (хорошо, что горючее в баках еще было). И в конце концов – то ли чудом, то ли по наитию – уже к ночи выбрались к своим.

Все начальники с двумя просветами на погонах из-за нашего исчезновения уже “стояли на ушах”. Но надо отдать им должное – никто меня даже не выругал. То ли понимали, что виноват не я (штатский молодой член Союза писателей), а общий бардак, то ли просто были счастливы, что все кончилось благополучно и не придется отвечать. Майоры и подполковники похлопывали меня по плечу: “Ну и хорошо, что живы-здоровы. Не робей, лейтенант”. И даже позвали выпить в своей компании водочки.

Это, пожалуй, был единственный случай, когда я испытал что-то вроде ощущения военного братства.

И еще хорошее воспоминание. Когда уже кончились все учения и было известно, что на днях грузимся в эшелоны и едем домой (и я все-таки попаду с ребятами в Ригу), мне запомнились несколько вечеров. Горнист печально сыграл отбой, громадный военный лагерь притих, дневные хлопоты позади и мирно светит над лесом закат. Можно походить, подышать воздухом Приморья, посмотреть на незнакомые уральцам пробковые дубы и другую диковинную растительность…

А также грела мысль, что хотя бы мельком видел я знаменитую реку Амур…

Ну, я опять отвлекся. Писал-то про охоту на зайцев.

В той охоте, кроме удачной стрельбы по ржавому котелку, был еще хороший момент.

Когда шли по лыжне между лесом и болотом, сквозь серовато-молочную муть неба вдруг проскочил солнечный блеск. И скучный пейзаж словно посыпали золотой пудрой. После этого у меня сложились строчки:

Солнце брызнуло над осинами,
Над заснеженными болотами,
И молочное небо зимнее
Вдруг подернулось позолотою…

Прямо скажем, не шедевр, но строчки запомнились и с той поры, вот уже сорок с лишним лет, нет-нет да и всплывут опять в памяти. Ни в какие стихи и рассказ я их приспособить не пытался. Пускай хотя бы здесь будут, чтобы не пропали совсем…

…Иногда, думая об оружии. я спрашиваю себя: “А мог бы ты убить человека?” И понимаю, что все-таки да, мог бы. Например, гнусного бандюгу, который прет на меня (или на того, кто рядом со мной) с ножом. Или того, кто мучает ребенка… А три дня назад видел на экране, как в Минске три амбала в шлемах и камуфляже поймали во время демонстрации девушку и старательно, с оттяжкой утюжат ее резиновыми палками. И понял снова: да, смог бы…

10. 04. 97

Пора завершить мой рассказ о Вите Ножкине. Завершить грустной историей, как закончилось наше знакомство.

Я жил тогда уже в районе Затюменки (или как говорят в Тюмени – за Тюменкой; сравните – “заграница” и “за границей”). Заканчивал третий класс. Часто ходил по маминому поручению в продуктовый магазин на улице Луначарского. Пришел туда однажды и увидел Витю Ножкина. До этого мы не встречались года два.

Виктор стоял в окружении почтительных тетушек – видимо, продавщиц и магазинного начальства. Он был с солидным округлившимся лицом, в отглаженном костюме (и совсем не заметно, что на протезе).

– Витя! Здравствуй! – обрадовался я.

Он не повел глазом.

– Витя!

Снова никакой реакции.

– Витя… – повторил я уже растерянно. Тогда какой-то пожилой покупатель сказал вполголоса:

– Отстань ты от него. Видишь, твой Витя занят.

И я сообразил! Закончив торговый техникум, Виктор Ножкин стал, видимо, начальством и пришел в магазин с проверкой. И знакомство с пацаненком, который обращается к нему, как к

приятелю, конечно же роняло авторитет солидного ревизора.

Осененный этой догадкой, я попятился и стыдливо покинул магазин. И больше никогда не видел Витю Ножкина.

Сергей, по-моему, в послевоенные годы с ним тоже не встречался…

***

С ума сойти! Сегодня всего три недели, как я начал этот дневник, а написал уже целую амбарную книгу – 99 страниц, каждая из которых равна двум обычным страницам общей тетради.

И чего только не понаписал (и кому это надо!).

А ведь собирался прежде всего изложить историю и сюжет ненаписанной повести “Однажды играли…”

Да, в новой амбарной книге этим и займусь.

А пока вот еще несколько страниц из черновика этой несостоявшейся книжки. Они следуют сразу за теми, что я привел в начале дневника.

“Однажды играли…”

“Однажды играли в… эту самую игру. Все на той же поляне у трех окон приземистого, желтыми досками обитого дома.

Был теплый июньский вечер, не слишком ранний и не слишком поздний. Окна под высокой крышей городского театра горели золотом – отражали невысокое уже солнце. На пыльную дорогу, на верхушки трав лег оранжевый отсвет. Одна такая трава – городская ромашка без лепестков – сильно пахла земляникой.

В цирке, что стоит напротив театра, посреди неухоженного сквера, сыграли марш – начало вечернего представления.

Скоро от Земляного моста, что на Перекопской улице, потянутся по домам Пеструхи и Буренки – пыль, протяжное “му-у”, звяканье щеколд на калитках. А пока тихо было в деревянном квартале улицы Герцена. Только наши распевные голоса нарушали тишину:

На-ашему ба-арину…

На сей раз “конем”, увы, быть выпало мне. А “качалкой” – увесистому Семке Левитину. Ка-ак меня ахнули! Будто выстрелили по мне из орудия тугой кожаной подушкой.

Ласточкой пронесся я над лужайкой, зарылся носом в городскую ромашку, вдохнул ее земляничный запах и сел. Помотал головой, прогоняя из нее гул. Сквозь этот гул услышал, как веселится народ. И открыл глаза. Валерка Сизов, парнишка тихий и участливый, спросил:

– Сильно стукнулся, да?

– Не… Только вот штаны…

Ветхие штанины украсились на коленях широкими дырами. Видимо, от трения о траву.

– Попадет?

– Ништяк, – отмахнулся я.

Вокруг смеялись все тише. Сперва я подумал: от сочувствия ко мне. Но тут же понял: от того, что рядом посторонние.

Неподалеку на дощатом тротуаре стояли женщина и мальчик. Явно не здешние.

Женщина – молодая, высокая, в переливчато-шелковистом синем платье, в широкой белой шляпе. Из-под шляпы смотрели на нас какие-то странные, продолговатые глаза (“Как у артиста Дружникова”, – говорила потом Тоська Мухина).

Мальчик был чуть помладше меня (а может, и ровесник,

только более щуплый). Белая, очень чистая панамка, нарядный костюмчик в мелкую бело-голубую клетку, новые сандалики, короткие васильковые чулочки…

Ну, панамка, ну клетчатая курточка и штанишки на крупных пуговицах – это хотя и было чуждо нашей потрепанной вольнице, но особого удивления вызвать не могло, лишь усмешку. А такие вот чулочки до колен были среди тогдашней ребятни совершенно не в ходу. Где-то в конце пятидесятых они под названием “гольфы” войдут в быт и станут для мальчишек и девчонок привычной вещью. А в том, сорок восьмом году мы их видели только на картинках про довоенных пионеров-отличников и в кино про заграничную жизнь.

Эти похожая на актрису тетенька и ее нарядный мальчик были явно из какого-то другого мира.

Женщина смотрела на нас, по-моему, с жалостью, как на безнадежно больных. И с опаской. Страх этот был не за себя, а за мальчика. которого могут опасно заразить бациллой здешней детской безнадзорности.

А мальчик – тот глядел без боязни. С некоторой робостью, но и с любопытством. И с веселым таким пониманием. С готовностью тут же подбежать, если позовут. И включиться в наши варварские развлечения.

Он был не похож на маму (если это, конечно, мама). Тоже тонколицый, тоже с большими глазами, но не с продолговатыми, а скорее с круглыми. С широким, готовым улыбнуться ртом. Еще чуть-чуть, и улыбнулся бы.

Но женщина взяла его за плечо, резко качнула шляпой.

– Идем. Уже поздно.

Он пошел за ней сразу, послушно. Однако через несколько шагов оглянулся. Словно хотел сказать: “Я не виноват, что меня уводят”.

Каблуки женщины отчетливо стучали по доскам тротуара. Потом она и мальчик перешли дорогу и скрылись за воротами обширного двора, который у нас назывался “большая ограда”…

Генка Лавров – самый большой и авторитетный из нас – подытожил наконец общее впечатление:

– Ну и… фигуры. Будто из Парижа.

– Не из Парижа, а из Москвы, – тут же влезла в разговор Тоська Мухина, довольная, что знает больше нас. – Они вчера приехали и рядом с нами теперь живут. В той комнате, где раньше жил одноногий дядя Петя… Она музыкантша. Ее знаете как зовут?

Мы, разумеется, не знали.

– Ее зовут Зоя Корнеевна! – торжественно объявила Тоська,

словно сообщала нам невесть что важное.

Во время игры, в которую девчонки не допускались, Тоська скучала на завалинке и теперь была рада овладеть общим вниманием.

– А пацана как звать? – небрежно спросил Генка Лавров. Конечно, воспитанный мальчик в панамке не стоил особого внимания, но все-таки…

– То ли Тёма, то ли Дёма, я точно не расслышала.

– Еще не все разнюхала, – с меланхоличным ехидством заметил маленький Игорек. – Но вы не бойтесь, она про все узнает. Она уже дырку в стене проколупала, они как раз за ихней стенкой живут.

Тоська замахнулась, шагнула к нему. Игорешка отскочил, оскалился, чиркнул пальцем по зубам, выставил палец перед собой. Тоська сразу – стоп! Мы не удивились…

Игорек (Игорешек, Горошек) был среди нас младший. Хоть и маленький, а сообразительный. В играх и в делах наших не отставал от других, если только не требовалось большой силы. А если что-то не по силам, сидит в сторонке, не лезет, не мешает. Кругловатый такой, всегда спокойный, даже ласковый. Только с Тоськой шла у них постоянная война.

Тощая, нескладная, но с кукольным личиком, Тоська была старше Игорька лет на пять и приходилась ему то ли двоюродной сестрой, то ли даже теткой. Их семьи жили в одной квартире, в двухэтажном деревянном доме – одном из тех, что рядами стояли в большой ограде. Тоська часто ябедничала на Игорька его родителям. Он за это перед всей нашей компанией разоблачал всякие нехорошие Тоськины дела: как воровала из шкафа сахар, как мазала губы взятой у матери помадой, как подглядывала за старшей сестрой, когда та целовалась с пришедшим в гости курсантом Федей…

Со стороны могло показаться, что эта девчонка вполне наша приятельница. Не боязливая, кокетливая лишь самую малость, ловкая, с мальчишечьими ухватками, она часто играла с пацанами в войну, в “сыщики-разбойники”, в “двенадцать палочек”, а то и в футбол – если в “мужских рядах” была нехватка.

И все же мы, мальчишки, относились к Тоське с прохладцей. Знали у нее кой-какие привычки, за которые горячей дружбой не жалуют.

Нравилось Тоське делать болезненные пакости. То будто ненароком пихнет человека в крапиву и с любопытством смотрит, как он сопит и чешется. То в шуточной потасовке ущипнет по-особому, с вывертом… Очень любила она игру в солдатики.

Солдатиками назывались длинные стебли подорожников с тугими продолговатыми головками из мелких семян. Берешь солдатика в пальцы и стараешься перешибить им такого же в руке у соперника. А потом проигравшие получают по голой руке несколько горячих – по числу потерь. Таким же солдатиком.

Боли, конечно почти никакой. Подумаешь, травинка! Но Тоська умела стегнуть так, что человек даже ойкал. При этом она часто облизывала яркие губки, а щеки у нее розовели. Амирка Рашидов однажды не выдержал, обругал ее, потирая руку:

– Тебе надо было в Германии у фюрера работать гестапницей…

Но Тоськины привычки не могли зайти так далеко и в “гестапницы” она не годилась. По простой причине. Тоська панически боялась крови.

И поэтому ее, Тоську, ничуть не боялся Игорек. Она за ним погонится, а он – раз! – колупнул коросту на коленке или чиркнул пальцем по деснам (они у него часто кровоточили). Увидев на пальце Игорька красную полоску, Тоська шарахалась назад, словно лошадь от топтыгина…

Вот и сейчас ее отнесло от Игорька. Издалека Тоська пригрозила:

– Скажу отцу, он тебе опять всыплет!

– Фиг тебе! Он меня никогда… Иди лучше сама своего пупса выдери. Сразу успокоишься…

От Игорька мы знали, что двенадцатилетняя Тоська до сих пор играет в куклы: шьет им всякие наряды. А если на душе досада, Тоська кладет на колени целлулоидного пупса-голыша и наказывает его специальным кукольным ремешком.

Тоська издалека бросила в своего братца (или племянника) ржавой консервной банкой, промахнулась и пошла прочь – обиженная, независимая, длинноногая. Тощие косы подрагивали на спине.

А мы поняли, что прежняя игра надоела. Хорошо бы что-нибудь другое.”

12. 04. 97

Итак, что же было после того, как закончился процитированный выше эпизод?

И в повести, и на самом деле было одно и то же.

Наступила та вечерняя пора и то вечернее настороение, когда новые игры затевать уже поздно.

Я сказал ребятам, что пойду домой.

И пошел. К себе на Нагорную. Путь лежал по улице Герцена, мимо старых, порой причудливых домиков, по дощатым

тротуарам и тропинкам с извилистыми поворотами. Иногда улица выходила на край лога, за которым на фоне заката темнели крыши и высокие ели района, именуемого Большое Городище. Иногда – на широкие, заросшие лютиками и сурепкой перекрестки, похожие на маленькие площади.

И так – до Перекопской, до Земляного моста. Здесь можно было выбрать разные пути. Я выбрал не самый простой, но самый короткий – через лог.

Лог – тогда еще не засаженный тополями, с травянистыми склонами и речкой Тюменкой внизу – разветвлялся на отдельные рукава. В одном месте он, словно крепостной ров, окружал квадратный участок земли, на котором (как мне казалось) очень удобно было построить укрепление. А может, именно там и стояла старинная Тюменская крепость? Я знал, что не там, но иногда позволял разгуляться своей фантазии.

Кстати, теперь этого квадратного островка уже нет. Позднее, при строительстве стадиона, многие места были там перерыты и выровнены…

Я спустился в лог, перешел вброд Тюменку (было чуть выше щиколоток), поднялся на “Крепостной остров” – так я его про себя называл. Здесь было плоское, поросшее овсяницей пространство. Раньше его раскапывали под огороды, но в том году не стали. Говорили, что городские власти почему-то запретили.

Тишина стояла, только овсяница еле-еле слышно шепталась. Окруженный глубоким логом, Крепостной остров был словно частичкой иного пространства. И я здесь был один.

“Летнего” времени тогда не существовало, и солнце в самые длинные июньские вечера заходило у нас не позднее половины десятого. И сейчас оно уже спряталось. И были кругом тишина и покой. Жизнь в городке в то послевоенное время и вообще-то не была шумной, а сейчас звуки и совсем поутихли.

Я лег на спину в траву. И оказался совсем уже в отдельном мире. Только я и тихое пространство, окруженное со всех сторон колосками овсяницы. И в палевом вечернем небе надо мной розовели полупрозрачные облака.

Так я лежал минут пятнадцать – впитывал покой и тихую сказку.

Потом я легко вскочил, пересек бегом по щекочущей овсянице остров, преодолел еще одно русло широкого лога и по крутому склону поднялся прямо в огород того двора, где стоял тогдашний мой дом…

Мама удивилась моему появлению. Она думала, что я останусь ночевать у дяди Бори. Но заниматься мной было ей

некогда. Мой братишка Лёка (в повестях я называл его Леськой) ревел и не хотел спать.

– Возьми на кухне молоко и хлеб. Поешь и сразу ложись, не вздумай опять читать с фонариком. Не забыл, что тебе завтра с утра на анализы в поликлинику?

Я не забыл. Отчим выхлопотал в своем профсоюзе для меня путевку в пионерский лагерь, и надо было готовить документы.

В лагерь я собирался впервые. При этом испытывал “смешанные чувства”: радостное предчувствие новизны и в то же время немалую опаску. Утром, проснувшись, я увидел, что мама с сокрушением разглядывает мои штаны. Вечером дыр на коленях она не заметила, торопилась к Леське, а теперь:

– Где тебя угораздило так их разодрать?

– Я, что ли, виноват? Они еле живые. Чихнешь – и расползаются…

Штаны были ветхие, из похожей на потертую мешковину материи. Когда-то они застегивались под коленками, но теперь пуговицы пообрывались, манжеты истрепались, а спереди над ними зияли две лохматые дыры – итог вчерашней игры.

– Как теперь ты пойдешь в поликлинику! Это невозможно починить!

– Подумаешь! В трусах пойду. В лагере все равно все ходят в трусах.

– Они у тебя драные или с заплатами.

– А эти! – Я крутнулся перед мамой.

– И эти с заплатой. Посмотри, сзади бубновый туз, как у арестанта!

Я читал, что в старину арестанты действительно ходили с нашивками в виде бубнового туза на тюремных бушлатах и шинелях. Но тузы были не на спине, а не на…

Про это я и сказал маме. В ответ я узнал, что получу сейчас по своему “тузу”, если не перестану глупо острить.

– Надевай черные брюки.

Я взвыл. Эти брюки были от костюма, который весной прислал отец. Суконные, жаркие и кусачие. В холодную погоду еще можно носить, а сейчас…

– Я в них изжарюсь!

– Тогда надевай белые , в которых бегал в прошлом году.

– У-у! Они со шкеровозами!

Дело в том, что штаны на нашем ребячьем диалекте назывались “шкеры”, а лямки соответственно – “шкеровозы”. Отношение к шкеровозам было пренебрежительным.

Надо сказать, что проблема штанов (вернее, их нехватки) в первые десять лет моей жизни всегда остро стояла предо мной.

Наверно, потому я не раз касался этой болезненной темы в повестях о своем детстве (например, в “Тени Каравеллы”). Вот и сейчас…

– Не буду я в них! Пацаны задразнят!

– Надевай тогда брюки! Иначе опоздаешь! И не спорь, а то взгрею как следует этими самыми шку… шке… возжами!!

Я знал, что не взгреет, сроду такого не бывало. Но все же спорить дальше было рисковано.

И через пятнадцать минут я в отглаженной синей рубашке с красным сатиновым галстуком и в отутюженных черных штанах до пят шагал к старинному особнячку на улице Ленина, где помещалась детская поликлиника.

Утро было солнечное, горячее, и уже в самом начале пути я изрядно взмок.

Дорога от улицы Нагорной шла сперва по улице Республики, по мосту через лог с бегущей по дну Тюменкой, потом в горку. Там на возвышении, где улица Республики соединяется с улицей Ленина, стоит старинное здание Областного краеведческого музея (бывшая Городская дума). С колоннами и часами. В сороковых годах этот памятник классицизма девятнадцатого века венчала деревянная пожарная вышка. А рядом с музеем располагалось пожарное депо.

Перед низким депо, в скверике, был квадратный бассейн маленького фонтана.

Порядком измученный зноем, я наклонился над бассейном, задрал рукав, побултыхал рукой в мутноватой воде, плеснул себе в лицо.

– Эй, бактерия! Чё воду мутишь!

Неподалеку стоял крепкий парень в форме пожарного – сизой гимнастерке с петлицами.

– Ничего я не мутю!

– Мотай отсюда!

Когда я посмотрел на парня, мне сразу пришло в голову где-то вычитанное слово “ражий” Не “рыжий”, а именно “ражий”. То есть с широкой тупой рожей, с этакой нескладной приземистой фигурой и крепкими длинными лапами. У него были редкие серые волосы, белые ресницы и бесцветные стеклянные глаза.

Прикинув, что для бегства у меня есть запас шагов семь, я храбро сказал:

– А чего вы командуете! Это не ваша вода, а государственная! Для всех!

–А ну, катись отсюда, пионер засраный! Еще раз увижу тут, искупаю в государственной воде по уши!

Я ушел. Некоторое время размышлял: чего им надо от ребят,

таким сволочам? Не раз уже было: идешь, никого не трогаешь, а на тебя начинают орать какие-нибудь дядька или тетка. Например, наш школьный завхоз Захвостыч. Ну ладно, он на войне контуженный. А этому-то ражему дубине чего надо? Наверняка войны не нюхал…

Но скоро меня одолели другие мысли. Опасливые. Мне еще ни разу не приходилось сдавать кровь, но я знал, что это делается путем втыкания чего-то в палец.

Сумею ли я достойно выдержать болезненную процедуру?

Чем дальше, тем больше я нервничал. Особенно заволновался в коридоре поликлиники, где своей очереди ожидало много ребят (некоторые были с баночками и бутылочками, но у меня эту неприличную часть анализов мама отнесла сюда накануне). Я храбрился и, дурачась, рассказывал незнакомой конопатой девочке, своей ровеснице (весьма симпатичной), что кровь берут путем вбивания в лоб громадного гвоздя.

Этот мой садистский рассказ услышала вышедшая из кабинета медсестра. И сказала, что гвоздь вбивают не в лоб, а в язык. И не всем, а только болтунам. Я усох.

Процесс “взятия крови” оказался не страшным. А всякие там взвешивания, измерения роста, прослушивания и стуканья молоточком по коленкам – тем более. Плохо только, что после осмотра опять пришлось влезать в колючие штаны и душную рубашку…

После поликлиники мне предстояло еще одно дело: пойти подстричься. Белобрысые мои волосы изрядно отросли, а в лагерь полагалось ехать “коротко подстриженным, лучше всего под ноль”. Я, впрочем, собирался попросить знакомую парикмахершу Таню оставить мне хоть маленькую челку, чтобы “кумпол” не был совсем как огурец.

С Таней я был знаком еще с той поры, когда жил на Смоленской. Однажды, во втором классе, пришел подстричься, разболтался с молоденькой мастерицей, и она за мою разговорчивость прониклась ко мне симпатией. Всегда стригла без очереди.

Парикмахерская располагалась в приземистой мазанке, похожей на хибарку дедушки-рыбака из книжки “Белеет парус одинокий”. И стояла она тоже на берегу – над откосом лога, там, где улица Вокзальная смыкалась с Первомайской. Сейчас про нее, конечно, мало кто помнит. От мазанки не осталась следа еще в ту пору, когда я был старшеклассником. Снесли, когда реконструировали мост через лог.

В глинобитной парикмахерской всегда было прохладно. Над

двумя креслами уютно щелкали ножницы. Пахло одеколоном. Одно мне там не очень нравилось: с простенка между окошками непонятно смотрел из портретной рамы лысоватый дядька в пенсне. Типографская надпись под портретом сообщала, что это “Л.П.Берия”.

Я знал, что Берия – нарком, (по-новому – министр), один из вождей и верный помощник товарища Сталина. И что он главный над теми, кто ловит шпионов. До той поры, когда Берию самого объявят шпионом (кажется, английским), изменником и вредителем, было еще далеко. Так что портрет вызывал опасливое уважение (хотя и непонятно, почему его повесили здесь, в захудалой парикмахерской).

Мало того, я знал, что от Берии была большая польза лично моему отчиму. Будто бы он, Берия, сам утвердил список тех, кого следует отпустить на волю.

В середине войны отчим в одном из лагерей отсиживал срок за “шпионаж”. Сперва-то его хотели просто расстрелять, но потом смягчили приговор. И вот нарком Берия, перестрелявший тысячи и тысячи людей, вдруг решил устроить ревизию: нет ли в делах осужденных лиц ошибок, перегибов и несправедливых приговоров? Что его подвигло на столь либеральный шаг, теперь, наверно, никто уже не скажет. Тем не менее, раз нарком велел, “ошибочно осужденные” тут же нашлись. Отчим говорил, что была это горсточка счастливцев, на которую неожиданно свалилась милость судьбы – этакий каприз тогдашнего “энкавэдэшного” режима. И отчим оказался в этой кучке избранников. С далекого “лагерного” Севера он приехал в Тюмень (в Москву, где жил раньше – не разрешили) и познакомился с мамой.

Конечно, отчим не очень-то доверял наркому Берия. Говорил, что “сегодня отпустил, а завтра, глядишь, опять…” Но, тем не менее, был не очень сдержан на язык: иногда отпускал шуточки, за которые “опять” очень даже было возможно. И порой в моем присутствии описывал детали лагерного быта и допросов у следователей. Впрочем, я про это писал в нескольких книжках…

Порой, когда отчим устраивал дома скандалы (и пьяные и “трезвые”), я, признаться, думал, что зря Берия подписал этот список. Сидел бы заключенный В.Э.Кун там, куда посадили, и мама с папой, может быть, не разошлись бы и все было бы по-иному…

Впрочем, чего теперь ”если бы да кабы”. Все равно у отца в Белоруссии была уже другая семья…

Так, размышляя и предвкушая прохладу парикмахерской, я

прошагал квартала два. И спохватился, что денег на стрижку у меня с собой нет. Мама еще позавчера дала мне трешку, но я “тянул резину”, не шел в парикмахерскую. А теперь деньги остались в кармане старых штанов.

Ну и ладно! Два-три дня у меня еще есть. А сейчас я, весь изжаренный, пойду скорее домой и отпрошусь у мамы на реку. Туда вполне можно в трусах с “бубновым” задом.

Проходя мимо пожарного депо, я оглянулся. Никого из пожарных поблизости не было. Я присел на бетонный барьерчик и опять поплескал себе в лицо. Пофыркал, помотал головой – с ресниц разлетелись радужные брызги.

И в этот миг меня крепко ухватили за бока.

– Опять ты здесь бултыхаешься, шмакодявка! Я тебе что обещал!

Откуда он появился, этот ражий детина? Сильными руками он взметнул меня над бассейном и уронил в воду. С плеском!

Я сел и оказался в воде до подмышек.

И, конечно, заревел.

Выскочил я из бассейна на другом его краю, отбежал и со слезами обозвал Ражего всякими неприсущими пионеру словами. Потом, оставляя на досках тротуара сырые следы и подвывая, пошел домой.

На весь путь до Нагорной слез у меня, разумеется, не хватило, но перед самым домом я опять шумно завсхлипывал. И в таком вот облипшем и зареванном виде я предстал перед мамой.

Мама разделила мое негодование по поводу вероломного поступка ражего пожарника. Но что она могла сделать? К тому же, ее больше беспокоило не нанесенное мне оскорбление, а судьба брюк. Они, по словам мамы, “наверняка теперь ссохнутся и сядут”.

Так оно и случилось. Высохшие брюки сделались съеженными и маленькими. Нет, надевать их было можно, только никакого парадного вида они не имели несмотря на долгое разглаживание. И длина стала – по щиколотку. Ладно, за повседневную одежду сойдут (особенно зимой, с валенками), но выходного костюма я оказался лишен.

Когда с работы пришел отчим, мама с великим огорчением поведала о случившемся. А я снова набух слезами от пережитой утром обиды и унижения.

Отчим неожиданно все это принял близко к сердцу.

– А ну, идем! Покажешь мне этого огнеборца!

– Володя, не надо! – встревожилась мама. – Мало тебе еще неприятностей? Пожарники – это же почти милиция!

Мне было понятно, о каких неприятностях идет речь. Кто-то

недавно сообщил про отчима “куда следует”, что он ездил в Москву к дочери (она была от первой жены), сестрам и брату, хотя не имеет права никуда уезжать из Тюмени, потому что административный ссыльный.

И отчима вызывали “туда”.

На самом деле ссыльным он не считался и мог ездить, куда хочет. Это его право “там” вежливо подтвердили, и недоразумение, вроде бы, уладилось. Но отчиму казалось, что во время разговора на него “смотрели странно”. А был сорок восьмой год, когда вдруг снова начали сажать тех, кто был арестован до войны и во время войны, а потом отпущен (как потом говорили взрослые, “шел второй призыв”). Конечно, в отчиме сидел постоянный страх. И он теперь был рад, что завтра на два месяца уезжает в командировку по охотничьим хозяйствам в районе Ханты-Мансийска и Салехарда.

Надежда, что “там не найдут”, была, конечно, иллюзорная, но все-таки: от областных органов подальше…

В такой ситуации логично было бы ему тихо сидеть до самого отъезда и не влезать ни в какие истории. Но Владимир Эдвинович завернул мои иссохшие брюки в газету и сказал:

– Идем!

И я – в трусах с арестантским клеймом, полинялой майке и босиком – запрыгал впереди отчима, лелея надежду на отмщение.

Нам повезло – в том смысле, что у депо стояли несколько человек и среди них оказался начальник, кругловатый дядя в синей гимнастерке и фуражке с серебристым значком. Выяснив, кто есть кто, отчим – высокий, тощий, со значительным лицом и манерами взбешенного интеллигента – обратился к командиру. Развернул перед ним брюки и, указывая то на них, то на меня, в жестком тоне изложил ситуацию. И потребовал возмещения материального и морального ущерба.

Командир малость оробел. И начал говорить, что ничего подобного не могло иметь места. Ибо его починенные никогда не обижают детей, а наоборот полны к ним всяческой любви и готовности помочь и спасти…

Но я уже узрел обидчика.

– Вот он!

Однако Ражий отперся. Заявил, что видит меня впервые, а утром он был у тещи, помогал ей рыть колодец в огороде.

Видя, что у нас нет прямых доказательств, начальник слегка обнаглел и сказал, что обязан верить своим бойцам, а не случайным прохожим. И что “ваш мальчик” наверняка сам где-то свалился в воду, а теперь ищет виноватых, чтобы избежать ремня”.

От такого нахальства у меня перехватило дыхание. А потом опять брызнули слезы. А отчим взял меня за плечо и сообщил пожарной команде, что отсюда мы прямиком идем в милицию.

– Это ваше право, – ответствовал командир.

Шагов через полсотни отчим виновато сказал:

– Едва ли милиция станет этим заниматься…

Я был с ним согласен, И решил, что лучше пойти в другое место: от всех переживаний мне отчаянно хотелось в туалет.

К счастью, нужное заведение – большое дощатое строение с претензией даже на некоторую архитектуру – стояло недалеко от музея, на краю лога. Мы наведались туда и решили направиться домой, когда вдруг услыхали:

– Ну чё, старый фраер! Съел порцию г…?

В трех шагах ухмылялся ражий злодей.

– Ах ты … … .., … … … и … – сказал Владимир Эдвинович. При всем своем старомосковском воспитании он был охотник, путешественник и бывший зэк и умел разговаривать с подобными типами в нужном тоне.

Ражий слегка опешил. Но тут же по-блатному завозмущался. Присел и пропел тонко:

– Чё-о ты сказал? А ну, иди сюда, сучий потрох!

Отчим подошел не дрогнув.

– Ты чё, на легавых завязанный, да? – И Ражий присел еще сильнее, разведя колени. И сделал жест, который я потом не раз видел у шпаны: снизу, как бы из-под полы, дернул вперед скрюченную руку с растопыренными вверх пальцами – словно хотел что-то вырвать у противника из промежности. И тут же икнул, отлетел и завалился затылком в бурьян.

Потому что в воздухе что-то мелькнуло. Оказалось – рука отчима. Он когда-то немало занимался боксом. То, что он сделал, называлось “хук справа”. Сокрушительный удар согнутой рукой в челюсть.

Мерзавец полежал, поднял голову, заскулил, запричитал.

– Живой? Ну и ладно, – сказал отчим “с чувством глубокого удовлетворения”. – Пойдем, Славик.

И мы пошли, провожаемые плаксивыми и беспомощными угрозами. И я разом простил отчиму все прошлые обиды, все скандалы и его домашнюю тиранию.

Я был сейчас мальчик, за чью поруганную честь с грозной силой затупился отец. Пускай не родной, в данном случае это было неважно…

Дома я с восторгом рассказал маме о справедливом отмщении. Она заохала: как бы не было неприятностей. Отчим храбро сказал:

– Пускай жалуется, если совсем дурак. Это было без свидетелей.

И он начал укладывать рюкзак, собираться в северную поездку, пряча за деловитостью беспокойство.

Я уселся перечитывать любимую книжку про Тома Сойера. Все проблемы на сегодня были решены. Впрочем, кроме одной, со штанами. В чем завтра идти в поликлинику за анализами?

Но мама к утру решила и этот вопрос. Она пошла к нашей соседке тете Нюре, они отрезали лямки от парусиновых штанов и сделали из них на поясе петли для ремня.

А ремень мне подарил утром отчим.

Ремень был солдатский, военного времени. Во время войны бойцы носили не такие широкие ремни с бляхами, как потом, а более узкие – у них были простые пряжки со шпеньком и один ряд дырочек.

Я затанцевал от радости. Теперь я стал похож на Тимура из фильма про него и его команду. Тем более, что вместо глухой синей рубашки мама дала белую, легонькую (“Только не извози все это за один день, а то знаю я тебя…”).

В белом летнем наряде чудилось мне что-то морское, торжественно-пионерское, праздничное. Я чувствовал себя легким, почти летучим. И вспоминая потом свое такое вот отражение в зеркале, я написал повесть “Тополиная рубашка” – одну из своих “Летящих сказок”, где реальность тюменского детства переплелась с плодами буйной фантазии и сновидениями.

Мама сама завязала на мне пионерский галстук и велела поторапливаться. Дел у меня было много, Во-первых, зайти в школу и взять у вожатой Миры подписанную и заверенную характеристику, без которой в лагерь не примут. Во-вторых, получить в поликлинике результаты анализов. В-третьих, пойти в контору отчима, к профсоюзной начальнице, сдать ей все эти бумаги и взять у нее путевку. В-четвертых, “остричь наконец свои лохмы, потому что такое чучело не подпустят к лагерю на пушечный выстрел”. И наконец “вернуться домой таким же аккуратным, а не перемазанным, и по дороге не влипать ни в какие истории”.

14. 04. 97

Итак, продолжаю…

“Однажды играли…”

На прощанье мама сменила строгий тон на ласковый, поправила на мне воротничок и сказала:

– Какой ты… Если бы еще белую панамку, был бы прямо как артековец.

Слова про панамку напомнили мне о мальчике Тёме (или Дёме), который появился позавчера на улице Герцена. Вернее, не напомнили – я в глубине сознания помнил про него все время – а сделали мысли о нем более четкими. Я почувствовал, что мне хочется познакомиться с ним поближе.

Мне казалось, что в этом мальчике есть ясность и чистота души, которых недоставало моим приятелям. И мне самому. Я давно мечтал о друге, с которым можно говорить о сокровенном, не боясь ответных ухмылок. Абсолютно искреннем, не терпящем уличной разухабистости и того пацаньего цинизма, который в рябячьих компаниях принимался за норму.

Да, незнакомый Тема выглядел хлюпиком и чересчур воспитанным маминым сыночком. Но дело в том, что… где-то внутри себя я и сам был таким. И лишь упорными тренировками характера и приспособлением к “образу жизни” мог подтянуть себя до общего уровня. До того, который позволял мне (иногда с горем пополам) быть своим в компании родного квартала.

С другой стороны, я понимал, что внешность и поведение “хорошего мальчика” не всегда говорят о боязливости и слабости натуры. Пример тому – все тот же Тимур со своей командой из фильма. который то и дело показывали в кинотеатре имени 25-летия ВЛКСМ.

С такими мыслями я, слегка стесняясь своего чересчур образцово-пионерского вида, но в то же время с праздником в душе, зашагал в свою двухэтажную школу-семилетку и там в пионерской комнате нашел старшую вожатую Миру, которая возилась с пыльными плакатами и старыми стенгазетами. Наверно, наводила порядок перед отпуском.

– Ка-акой ты… прямо весь горнист-барабанщик, – оценила мою внешность Мира и тряхнула рыжими кудряшками.

– Мира Борисовна, а характеристика? – напомнил я. И был готов к сообщению, что “еще не готова, потому что завуч до сих пор не появлялась в школе”. Или: “Ох, надо поставить печать, а секретарь заболела”. Но Мира сказала:

– Сейчас принесу. Она у меня в портфеле, а портфель в учительской… – И торопливо ушла, щелкая босоножками.

Я остался один. В пахнувшей мелом и пылью комнате с

выцветшим красным лозунгом, призывавшим “учиться, учиться, и учиться”, со знаменем в углу на специальной подставке с фанерной звездой.

Рядом со знаменем стояла тумбочка (похожая на больничную), на ней – горн и барабан.

Я постукал по барабану – по тугой серой коже с чернильной надписью “В.Ковальков” (наверно, один из барабанщиков отметился). С кожи поднялась тонкая пыль, я чихнул. И увидел, что ящик тумбочки приоткрыт. Я его выдвинул. Там лежали палочки мела, бумажные флажки, помятая коробка с красками и несколько мундштуков для пионерского горна.

Я замер в охотничьей стойке. И в лихорадочных раздумьях.

В нашей компании на улице Герцена был старый помятый горн. Не знаю, чей, но хранился он обычно на сеновале у Генки Лаврова. Мы время от времени пытались выжать из него что-нибудь похожее на сигнал, но без успеха. Валерка Сизов вздыхал:

– Был бы мундштук, тогда поиграли бы…

Да, с горном, с боевой трубой, военные игры по вечерам были бы не в пример увлекательней.

А как вырос бы мой авторитет, если бы я небрежно выложил эту штуку перед ребятами!

Попросить у Миры?

Может, и даст, а может, скажет: “Что ты, это же казенное имущество!”

Щелк-щелк-щелк, – раздалось в коридоре. Руки сработали сами. Хвать!

Я сунул добычу под рубашку, под ремень, потому что единственный карман на штанах – накладной, пришитый сзади – был плоский и тесный.

Я успел заправить рубашку.

– Вот тебе характеристика… Ну, отдыхай в лагере хорошенько. И береги честь нашей дружины.

Ощущая голым пузом металлический (почему-то очень холодный) мундштук, я обещал отдыхать и беречь. Торопливо удалился и, помахивая сложенной вчетверо характеристикой, поскакал в поликлинику.

Совесть меня не царапала. Царапал сам мундштук, и я наконец переложил его в карман: теперь-то пусть выпирает, не страшно.

Пожарное депо с фонтаном я обошел стороной, по берегу реки. На всякий случай.

В поликлинике мне без волокиты выдали пачку листков и справок, соединенных канцелярской скрепкой. Я прицепил к “анализам” характеристику, в которой было написано, какой я

хороший и активный (знала бы Мира про мундштук!). И с этими трепещущими на ветерке бумажками двинулся дальше, в контору “Заготживсырье”.

Путевками ведала председательница профсоюза – очень полная дама с хитрыми глазками. Как звали, не помню, а фамилия была какая-то странная, “множественного числа”. Что-то вроде “Гайдамаки”.

Но для повести я придумал этой тете другую фамилию – Грузновато. Роза Яковлевна Грузновато. Так и буду ее называть.

– Здрасте, Роза Яковлевна! Вот… все готово… – Я слегка запыхался.

Мадам Грузновато сладко заулыбалась в ответ. Даже присела слегка.

– Здравствуй, Славик… Папа уже уехал в командировку? – Она имела ввиду отчима.

Я сообщил, что “папа” уедет вечером. На пароходе. А сейчас собирается.

Легкая тень мелькнула на лице профсоюзной командирши. Видимо, Роза Яковлевна рассчитывала, что Владимира Эдвиновича уже нет в городе и некому будет устроить скандал. А скандал мог случиться вот почему:

– Видишь ли, Славик… Такая неожиданность. Оказалось, что путевок нам выделили меньше, чем мы просили. И вот… получается, что тебя пришлось убрать из списка… раз ты сдал документы самый последний… Но ты не огорчайся! На будущий год мы тебя обязательно… В первую очередь!

Конечно, все врала! Путевка понадобилась для каких-то знакомых! Или для ее собственной дочки – Аллочки Грузновато (такой отвратительной девчонки с болячками на губах!). В первую секунду я был готов взорваться негодованием. Думает, если отчим в командировке, можно творить что угодно?! А я вот сейчас сбегаю за ним! Конечно, он не будет здесь применять “хук справа”, однако устроит такой шум, что…

Но стоп… В следующие секунды я осознал, что судьба подарила мне удачу.

По правде говоря, особого желания ехать в лагерь не было. “Домашний мальчик” Славик очень опасался надолго разлучаться с мамой и понимал, что будет отчаянно скучать. А кроме того, есть теперь возможность поближе познакомиться с Темой. Да! Это же удача!..

– Ну, что же, – вздохнул я с видом воспитанного ребенка, не смеющего спорить со взрослыми. – Жаль, конечно, я ведь уже почти собрался… Ну, ладно…

– Ты передай дома, что я приношу свои извинения и что на

будущий год… Ох, я опаздываю, мне надо в Областное управление, там сегодня заседание до вечера!

Она явно торопилась улизнуть из конторы, опасаясь гневного визита отчима.

Но я не собирался рассказывать дома о своей “отставке” раньше времени.

Выйдя на деревянное крыльцо конторы, я прикинул дальнейшие планы.

Во-первых, теперь не имело смысла стричься. Три рубля гораздо разумнее использовать на кино или мороженое. Вообще-то это не совсем мои деньги, мама дала их именно на парикмахерскую и теперь может потребовать назад. Но, с другой стороны, она сказала: ”Если останется сдача, возьми себе”. А теперь вся трешка сделалась как бы сдачей – в силу неожиданных обстоятельств.

Главное, домой не надо возвращаться слишком рано. Чем ближе к вечеру, тем больше шансов, что никто не ринется отстаивать мою неправедно отобранную путевку.

Я небрежно свернул, почти скомкал ненужные теперь документы и сунул в карман, к мундштуку. Карман заметно оттопырился.

Потом я направил стопы к кинотеатру “Темп”, где шла кинокомедия “Весна”, которую я видел только один раз. Отчего бы не посмотреть снова?

Но оказалось, что “Весны” уже нет, а показывают хороший, но всем изрядно надоевший “Небесный тихоход”.

Я пересек улицу и зашел в магазин “Культтовары” рядом со старинным зданием ресторана “Сибирь”. Не найдется ли здесь для моей трешки достойного применения?

Поглазев на канцелярские товары, я двинулся в отдел, где продавали разноцветные блестящие патефоны и пластинки для них.

Эх, если бы у нас дома был свой патефон…

С этим тайным вздохом я шагнул к прилавку и… увидел почти рядом с собой Темину маму.

Видимо, судьба в тот день решила делать мне подарок за подарком.

Темина мама была теперь не в блестящем “артистическом” платье, а в обычном – желто-зеленом, с рисунком из листьев. Но в той же шляпе, что вчера. Она растерянно перебирала содержимое сумочки и говорила продавщице:

– Какая досада, я истратила почти все деньги, не хватает двух с полтиной… У вас еще много таких пластинок?

– Последняя! – отозвалась продавщица со сдержанным

злорадством.

– А вы не могли бы отложить ее, пока я хожу за деньгами? Это всего полчаса…

– Не имею права. Идите, может быть успеете. Но эту пластинку спрашивают все время…

Продавщица явно мстила незнакомой покупательнице за ее “столичную” интеллигентность и красоту.

– Какая досада…

И я решился. Этакое мгновенное вдохновение:

– Зоя Корнеевна! Возьмите у меня взаймы! Три рубля!

Она глянула удивленно. С высоты роста. Наши глаза встретились. И тогда я запоздало сказал:

– Здрасте…

– Здравствуй… Но разве мы знакомы?

– Нет. Но про вас Тоська… Тося Мухина рассказывала, она рядом с вами живет. Когда вы позавчера подходили. Когда мы играли… Я там был, только вы меня, конечно, не помните.

– Да… не помню. Мне показалось, по правде говоря, что там все такие сорванцы…

Какая удача, что я был теперь не в обтрепанном костюме сорванца, а… весь такой образцовый!

Язык у меня был подвешен, я умел вести беседы со взрослыми (недаром же понравился парикмахерше Тане). С философской ноткой я заметил:

– Когда такая игра, все сорванцы…

– Да, игра ужасная… И такие слова…

Я “попал в струю”:

– Что поделаешь. Из песни слова не выкинешь. Это старинная игра, еще из крепостного права. Народная традиция.

Темина мама смотрела на меня с растущим благожелательным любопытством. И я понимал: ее радует, что среди здешних мальчишек не только шпана и опасные для Темы хулиганы, но и “вполне приличные дети”.

– У меня есть три рубля… – Я выгреб зеленую бумажку из-под мундштука и скомканных документов. – Вот, пожалуйста…

– Но… это неудобно. Брать взаймы у мальчика. И как я тебе верну?

– Очень просто! Я сейчас пойду играть на то же место. Или во двор, там рядом. А вы принесете… Или вашего Тему пришлите… – Последние слова я сказал небрежно, чтобы она не догадалась о моем тайном интересе.

– А вы там… не побьете его?

Я не стал бурно возмущаться и уверять ее в нашей благовоспитанности. Хватило ума отозваться сдержанно:

– Зачем же? Мы никого не трогаем.

– И никогда не деретесь?

– Деремся, если сильно поссоримся. Но это по-честному, один на один. И только если силы одинаковые… – Это была правда. И я добавил: – А чего же мы будем приставать к человеку ни с того, ни с сего? Он же… кажется не задиристый.

– Увы, ни в малейшей степени, – почему-то слегка опечалилась Темина мама.

Она взяла у меня деньги, купила у продавщицы (явно огорченной таким поворотом дела) пластинку, и мы пошли к улице Герцена.

– Интересно, что это за пластинка? – сказал я, чтобы поддержать светскую беседу.

– Это песня Петера. Вернее, танго… Есть такая кинокартина – "Петер". С артисткой Франческой Гааль.

– Да, я знаю. Я смотрел.

Мы помолчали.

– Странная девушка эта продавщица, – проговорила Темина мама. – Откуда в ней такая недоброжелательность? И что с этой девушкой станет в пожилом возрасте…

– Сделается как старая графиня с тремя картами, – поддакнул я.

Темина мама опять изумленно глянула на меня из-под шляпы:

– Ты читал "Пиковую даму"?

Я сказал со скромным достоинством:

– Помилуйте, Зоя Корнеевна. Мне уже почти десять лет.

– Вот как… да, конечно… А мой Тема еще не читал. И вообще к Пушкину относится прохладно, как я ни стараюсь… Правда, ему пока что девять с небольшим… Зато он без ума от "Острова сокровищ".

– От "Острова" все без ума, – согласился я.

Мы расстались на углу Герцена и Дзержинского, и я пошел в свой старый двор.

На крыльце большого дома сидели Толька Петров, Амирка Рашидов, Семка Левитин и Валерка Сизов. Воззрились на меня. Сейчас начнется!

Я опередил возможные насмешки:

– Ну, чё уставились! Я в лагерь собирался, велели в пионерской форме. Я уже совсем готовый был, а мне вдруг: "Мотай на фиг, нету для тебя путевки! Одна там начальница, размером с дирижабль… Кому-то сплавила, наверно, мою путевочку по знакомству… Зря только документы копил. Вот!.. –

И я выдернул из кармана пачку излохмаченных бумажек.

Все это произвело впечатление. Ко мне отнеслись сочувственно.

– А зато у меня вот что есть! – добавил я гирьку на свои весы. И вытащил мундштук.

– Ух ты! Где раздобыл? – Валерка протянул руку. – Дай посмотреть!

– На… В пионерской комнате стырил, когда вожатая за характеристикой ходила.

– Вот она узнает, напишет тебе характеристику, – умудренно предупредил Семка.

– Ништяк…

М-да, послушала бы сейчас меня Зоя Корнеевна!

Все по очереди подудели в мундштук. Он издавал пукающие звуки. Толька Петров “пукал” дольше всех, потом опустил мундштук и удивился:

– Уй, гляньте-ка, кто к нам идет! Панамка…

От калитки нерешительно шел к крыльцу Тема.

Теперь он был не в клетчатом костюмчике, а попроще: в потертых вельветовых “шкериках”, в голубой полинялой матроске, в сандаликах на босу ногу. Но чистая панамка белела на нем по-прежнему. И это говорило о принадлежности мальчика к иному миру. У нас в панамках гуляли только дошкольники.

– Это ко мне! – поспешно и решительно сказал я. – Темчик, иди сюда! – Так у меня вышло: “Темчик”. И было это для него более подходящим, чем “Тема” и тем более “Темка”…

Темчик подошел. Глянул на всех светло-карими глазами. С робостью, конечно, однако без заискивания. Негромко, но отчетливо сказал, не опуская глаз. Всем:

– Здравствуйте.

– Привет, – буркнул Семка Левитин с иронической ноткой.

– Здравствуй, – сказал я. Остальные молчали.

– Он в большой ограде живет, – объяснил я, исполняя ритуал ввода новичка в наш круг. – Недавно приехал.

– Да знаем уж… – хмыкнул Амирка.

– По-моему, он девчатник, – заявил совершенно лишенный такта рыжий Толька. – Ты любишь за девками ухаживать, правильно я говорю?

– Вовсе нет! – сдержанно возмутился Темчик.

– Он на них и не глядит, – заступился я.

Темчик глянул на меня чуть виновато.

– Нет, я… гляжу иногда. Там, где я раньше жил, мы часто играли вместе, мальчики и девочки. Но это ведь не ухаживание…

Речь Темчика, более отчетливая и правильная, чем у нас (да

еще с московским “аканьем”) – конечно же, не настраивала в его пользу. Но дразниться никто пока не стал. Миролюбивый Валерка Сизов спросил:

– Ты в Москве, что ли, жил?

– Да…

– А зачем вы сюда приехали?

– У нас папа… сюда направлен на работу. Не совсем сюда, но близко…

– А чё, в Москве все в панамках ходят? – спросил Амирка.

– Нет, конечно. Но у меня раньше случались солнечные удары, и мама говорит, чтобы я носил, когда жарко.

Над беззащитной искренностью смеяться нечестно, и Семка лениво проговорил:

– Рыжий, закройся.

И Толька, готовый было отпустить очередное ехидство, на время “закрылся”.

Темчик опять посмотрел на меня:

– Это ведь ты – Славик? Мама просила передать деньги. И сказать спасибо.

– Пожалуйста, – вздохнул я, ощущая, как нарастает неловкость. И взял трешку.

– Ух ты, новенькая, – сунулся Семка. – Хочешь, разменяю? Два рубля бумажками и рупь мелочью.

– Зачем?

– А в чику сыграем… – И обратился вдруг к Темчику: – Будешь с нами в чику играть?

– Нет, я не буду. Спасибо…

– Он и не знает, что такое чика, – сказал Амирка.

– Нет, почему же. Я знаю. Но у меня нет денег.

– Взаймы дадим, – подначил Семка.

– Нет… Мне, наверно, попадет, если мама узнает.

– Как она узнает? – удивился Валерка Сизов. – Ее же тут нету!

– Ну… она спросит: чем ты там занимался?

Тут все заржали, кроме меня. Толька Петров – громче всех.

– Чего вы гогочете, – сказал я. – Чего смешного, если человек врать не любит?

– Он просто играть не умеет! – “догадался” Толька.

– Нет, почему же! Я играл где мы раньше жили. Только не на деньги, а на пробки.

Это нам было знакомо. Вместо монеток иногда использовали зубчатые жестяные закрывашки от пивных бутылок.

– Пробки – это для младенчиков, – сплюнул Семка.

– Да, пожалуй, – согласился Темчик.

Трудно дразнить человека, если он не спорит. Да я и не

хотел, чтобы его “доводили”. И сказал Тольке, который опять заржал:

– Ну, чё ты, Рыжий, скалишься как в цирке?

– А ты? Лагерный придурок стал, да?

– Повтори…

– Лагерный придурок!

– Айда, – вздохнул я. Потому что не было никакого выхода. Как всегда при таких случаях, противно засосало внутри, но что делать. Спустить Рыжему оскорбление при Темчике я не мог.

И мы пошли к дальнему забору, что отгораживал пекарню (ох, сколько поединков за долгие годы видел этот забор!). Темчик пошел с нами, он, кажется, сперва ничего не понял. Я на ходу снял галстук, протянул Темчику:

– Подержи, пожалуйста.

По тогдашней этике драться в пионерских галстуках не рекомендовалось.

Драка была короткой. Толька сумел раскровить мне губу, но я (вот удача!) вляпал такой фингал на конопатую скулу, что все единодушно признали мою победу. Конечно, кроме самого Тольки. Он, правда, отказался от дальнейшего боя, но обещал меня “в другой раз изувечить пуще всякого урода”. Впрочем, он быстро оттаял.

На дворе появился Пашка Шаклин и позвал нас в цирковой сквер погонять только что отремонтированный футбольный мяч.

– Пойдешь? – спросил я Темчика.

– Если можно…

– А почему нельзя-то!

15. 04. 97

Я так увлекся пересказом своей несостоявшейся повести, что забыл писать о событиях нынешних дней…

Хотя о чем писать? Самое хорошее – то, что вчера вечером вдруг позвонил Володя Дмитриев – десятилетний человек из “Каравеллы”. У нас с ним дружеское взаимопонимание, потому что я очень люблю писать книжки, а он очень любит их читать.

– Почему вы не приходите в отряд?

Я сослался на остеохондроз (оставив в стороне ряд других причин, в том числе и некоторые расхождения с нынешним взрослым руководством отряда). Володя сказал, что его папа – врач и, наверное, может помочь. Я обещал при случае воспользоваться этой помощью. Потом пообещал, что поправлюсь и позову Вову в гости.

А еще у него есть младший брат Митя, с ним я тоже знаком. Мне кажется, оба брата – очень славные люди. Может быть, вроде

Темчика, о котором я пишу…

А Темчик постепенно входил в нашу компанию.

В первый день знакомства оказалось, что в футбол он играет совсем не так скверно, как можно было ожидать. Без блеска, конечно, но все-таки “на уровне”. По крайней мере, для его роста и возраста…

А главное, был он в игре неутомим и старателен. И не плакса. Даже не морщился, когда Валерка Сизов заклеивал ему помусоленными листьями подорожника оба сбитых колена…

И при этом он оставался Темчиком из Москвы, с его “акающим” произношением. Воспитанным мальчиком, который ни разу не произнес нехорошего слова. И еще: около девяти вечера он всегда выключался из игры и спешил домой.

– Понимаете, я маме обещал…

Над ним посмеивались, но, надо сказать, не очень.

Зоя Корнеевна не мешала вживанию Темчика в нашу уличную среду. Видимо, понимала, что мы, хотя и обормоты, но вовсе не шпана, а обыкновенные пацаны – со своим кодексом ребячьей жизни. Кстати, довольно справедливым. Внешне Темчик скоро почти перестал отличаться от нас. Только вот с панамкой не расставался. Но к этому быстро привыкли. Иногда его даже так и звали: Панамчик. Но чаще просто Темчик…

Случалось, он даже бегал босиком. Но рубашка или майка на нем всегда были чистенькими.

Однажды Зоя Корнеевна зашла на наш двор, где мы из гнилых листов фанеры, обломков кирпичей и старой бочки строили крепость. И разговорилась с соседками – она не чуралась общения с местным населением. Темчика, который подошел к маме, она ласково притянула к себе.

Таисия Тихоновна, которая была тут как тут, заметила, что “у вас очень славный мальчик, но не боитесь ли вы, что он попадет под дурное влияние?”

– Ну, какое здесь влияние, – усмехнулась Зоя Корнеевна. – Дети как дети. И Тема такой же… – Она еще ласковее прижала его к своему пестрому платью, и он не стеснялся, не упрямился. – К тому же, он всегда знает, что можно, а что нельзя… И помнит простое правило: любой мальчик может бегать с перепачканными коленками и синяками, лишь бы воротничок был чистый… – И поправила воротник желтой рубашечки на сыне.

Здесь же, на крыльце, во время разговора покуривал дядя Боря, который часто был для меня чем-то вроде зеркала. Я посмотрел на него и виновато повертел шеей. Воротник моей

ковбойки, увы, не отличался чистотой.

Дядя Боря усмехнулся и философски изрек:

– Что там воротничок. Была бы совесть чистая…

Я тихо засопел. Совесть моя была не чище воротничка. И случай с мундштуком для горна был на ней не самым темным пятнышком.

Да, если сравнивать, то больше всего моя совесть была похожа на мои парусиновые штаны, которые лишь первые полдня хранили флотскую белизну, а теперь были… ох… Впрочем, по-прежнему с мужественным военным ремнем.

Тут надо вспомнить, как я в день “отставки от лагеря” вернулся домой. Время было уже послеобеденное, часа четыре.

Мама увидела меня и чуть не уронила с рук годовалого Леську.

– Силы небесные… Где тебя носило? Во что ты себя превратил!

Штаны были в земле и травяном соке. Рубашка тоже. Кроме того, на ней темнело несколько засохших бурых капель – следы битвы с Рыжим.

– Я думала, ты поедешь в этой пионерской форме в лагерь, а ты…

– Никуда я не поеду… – Я выскреб из кармана помятые бумаги. Протянул маме и отчиму. – Вот, возьмите. Только они уже не нужны.

Рассказом о коварстве Розы Яковлевны Грузновато я отвел праведный гнев от себя. Мама повернулась к отчиму:

– Володя…

– Идем, – сказал он мне. – Лишь бы эта старая лиса оказалась в конторе…

– Не окажется, – нарочито вздохнул я. – Она сказала, что на весь день уйдет в Областное управление…

Мама беспомощно смотрела то на отчима, то на меня.

– Да ладно, не расстраивайтесь, – мужественно сказал я. – Чего уж теперь… Если сейчас отбить путевку для меня, значит, кто-то другой не поедет. А он-то чем виноват?

– Но тебе так хотелось… – жалобно напомнила мама (потому что я и правда демонстрировал горячее желание).

– Дождусь будущего года.

Я понимал, что в глубине души мама даже рада. Не очень-то хотелось ей на четыре недели оставаться вдвоем с маленьким Леськой. А от меня дома была все же немалая подмога.

Отчим, чтобы как-то завершить ситуацию, пообещал:

– Когда вернусь, повыдергаю этой стерве ноги из толстой тазобедренной части…

– Володя!

– Да-да. Обязательно…

Мой братишка радостно зааплодировал на руках у мамы.

…Поздно вечером мы оставили уснувшего Леську под присмотрорм тети Нюры и вдвоем с мамой проводили отчима на пристань…

С Темчиком мы сошлись не сразу, хотя взаимную симпатию чувствовали изначально. Наша дружба началась, пожалуй, после случая на реке.

Мы часто большой компанией ходили купаться на Туру. Там под обрывом тянулись узкие желтые отмели, которые назывались Пески.

Мы спускались от улицы Семакова по длиннющей деревянной лестнице к лодочной переправе, брали от нее влево и оказывались на прогретом солнцем песке.

Вода была желтая, с примесью глины, но зато пляж – прямо черноморский. Так, по крайней мере, нам казалось.

И с разбега – бултых в струи медленного течения.

Надо сказать, старшие ребята – Пашка Шаклин, Володя Амосов и другие – были внимательны к нам, к “мелкоте”. Смотрели, чтобы кто-то не пустил пузыри…

Купались в сатиновых широких трусах, а иногда и без них – если с нами не было Тоськи Мухиной. Других девчонок, вроде Галки Петровой или маленькой Амиркиной сестры, мы не брали в расчет, а Тоськи стеснялись – чувствовали ее “особый интерес”.

Темчик тоже купался, но держался у самого берега, плавал он плохо. Я, кстати, тоже неважно, но день ото дня наращивал опыт.

Каждый день плоские коричневые буксиры, хлопая гребными колесами, тащили вверх по Туре сосновые плоты. Плоты были длиннющие. Бывало, буксира уже не видать, а могучие связки бревен все тянутся, тянутся вдоль Песков.

Обычным развлечением было доплыть до плотов, прокатиться на них, а потом – снова на берег. Расстояние было небольшое – иногда метров сто, а иногда и полсотни. Но я сперва не отваживался на такие заплывы. Поэтому компания часто оставляла меня караулить одежду – иногда с девчонками и маленьким Игорьком-Горошеком, иногда одного.

Но вот, когда очередной раз появились плоты. я объявил, что поплыву с остальными.

– Булькнешься, – нагло сказал Рыжий.

– Не булькнусь! Я в бассейне сто метров проплыл! На водной станции! Там нормы БГТО принимали у всех, кто хочет! И мне дали справку, что сдал на отлично!

Это была правда.

Но, конечно, Толька сказал, как мне следует использовать эту справку.

– Брэк! – велел нам Володя Амосов (по прозвищу Амос). Потому что мы уже готовы были сцепиться.

Тоська (в таких же, как у всех, трусах, плоская и тощая, как мальчишка) сказала, что поплывет тоже. Других девчонок и Горошека с нами в тот раз не оказалось. Сторож, значит, был один:

– Темчик, останешься?

– Конечно!.. А вы не долго там будете?

Мы легкомысленно пообещали, что “туда-обратно за пять минут”.

Ближний край плотов оказался совсем недалеко. Я доплыл до него (рядом с Пашкой Шаклиным) без труда. Правда, когда выбрался на бревна, сердце колотилось, но не от усталости, а от волнения.

Мы разлеглись на теплых от солнца стволах. Солнце грело спины, пахло сосновой смолой. Плавное движение по воде нагоняло дремоту. И, видимо, поэтому мы плыли так довольно долго – пока подобравшийся издалека плотовщик не заорал на нас.

Мы посыпались в воду.

Оказалось, что плоты довезли нас почти до моста, за которым начиналась Затюменка.

Обратно было два пути – или вдоль воды, под обрывом, или наверх – по одной из крутых тропинок – а потом по улицам, что тянулись параллельно реке.

Старшие решили двигаться нижней дорогой. Их ожидал трудный путь – не везде были отмели, кое-где откосы уходили прямо в воду, эти места надо было преодолевать вплавь, против течения. Но большие ребята считали несолидным топать по городу в трусах. А мне, Тольке Рыжему, Амирке и Семке Левитину было “п *о* фиг”.

Тоська пошла с большими. Она стеснялась сказать, что стесняется идти по улицам, и объявила:

– Я еще не совсем головой инвалидная. Тропинки-то через крапиву, а она самая крепкая, “татарская”.

Амирка, видимо, задетый словом “татарская”, ехидно заметил:

– Как других в крапиву пихать, так всегда готова, а как самой идти, так обоссалась…

Тоська в него плюнула, и мы разошлись.

Крапиву мы миновали почти благополучно. Только грузный

Семка почесывал бок. И оказались мы у кромки обрыва, где из глины торчали остатки могучего кирпичного фундамента. Раньше здесь стоял большой Вознесенский собор (мне про него мама рассказывала). Перед войной его взорвали – или ради борьбы с религией, или потому, что он грозил рухнуть с оползавшего берега.

– Наверху есть дырка подземного хода, она в эти камни ведет, – значительным шепотом сообщил Рыжий.

Мы, остальные, только хмыкнули. Всем была известна черная дыра в земле, среди старых тополей. Все туда спускались. Внутри был узкий короткий лаз, который упирался в могучие плахи – видимо, вросшую в землю дверь. Плахи, хотя и полусгнившие, разломать было невозможно. Да и страшновато было там, под землей, если сидишь долго.

Но отсюда, снизу, остатки собора мы видели впервые.

– А вдруг тут клад? – шепнул не чуждый романтики Семка. – Гляньте, доски торчат.

Несколько сгнивших досок высовывались из-под плотной кирпичной кладки. А между ними… да, торчали две кости.

Рыжий бесстрашно ухватил кость и выдернул.

Безусловно, это была человеческая кость. Которая называется “берцовая”. Такие рисуют скрещенными под черепом на пиратских флагах. Кость была черная, рыхлая, но сохранила свою зловещую форму.

Рыжий сунул ее мне в лицо – попугать – потом бросил вниз. И ухватил другую.

– Не трогай, дурак, – сумрачно сказал Семка.

Неподалеку торчали еще несколько сплющенных гробов с костями. Видимо, под собором в старину были склепы.

Мы больше ничего не трогали, слегка притихли, стали подниматься. В этот момент из бурьяна выкатился темный круглый череп без нижний челюсти. Амирке прямо на босую ступню. Амирка дернул ногой. Череп запрыгал вниз, как мяч, и застрял в буйной зелени.

Мы выбрались наверх, перелезли через деревянную ограду и оказались на улице Республики. Напротив музея. Рядом с музеем была остановка автобуса.

16. 04. 97

“Однажды играли…”

Подъехала полуторка со скамейками – автобус тогдашнего времени. В кузове было много народа, кондукторша не сразу заметила “зайцев”. А когда заметила и завопила, мы уже подъехали к остановке “Улица Кирова”. По этой-то улице (параллельной Семакова) мы и выбрались снова к реке.

На Пески, к пестрой куче нашей одежды, охраняемой одиноким Темчиком, мы подоспели одновременно с теми, кто шел по берегу.

Увидев нас, Темчик встал и… заплакал.

Его обступили.

– Темчик, ты чего? Приставал кто-то? Где эти гады?!

Он всхлипнул опять, сердито сдернул панамку, вытер ею глаза. И сказал уже не по-московски, а чисто нашим сибирским говором:

– Вы чё, ненормальные? Я думал, потонули. Пропали куда-то… Столько времени нету и нету, я не знал, что делать…

– Ох и свиньи мы, – искренне сказал Амос.

Темчика со всех сторон принялись успокаивать. И наконец он заулыбался, тронутый всеобщим сочувствием. И счастливый, что все вернулись живые-здоровые. Хотя все еще промокал панамкой глаза.

Раздался сиплый гудок. От моста вверх по течению неторопливо двигался пароходик “Речник”. Он в это время каждый день шел от деревни Решетниково. Все знали: если показался “Речник”, значит, половина четвертого.

– Ой! – перестал улыбаться Темчик. – Я же обещал маме, что приду в три!.. Я побегу!

– Я с тобой! – На ходу застегивая ремень, я кинулся за Темчиком по лестнице. Потому что знал: он один еще ни разу не ходил по нашему городу на такое расстояние – от дома до реки и обратно. Конечно, не заблудится, но… мне казалось, что я отвечаю за Темчика.

Да, не такое уж это и расстояние было. За пятнадцать минут то бегом, то спешным шагом добрались мы почти до места.

– Попадет? – выдохнул я один раз на бегу.

– Не в этом дело. Мама, наверно, тревожится.

Еще на полпути я заметил, что за нами, поотстав, торопится Тоська Мухина. Ей-то что надо?

А в полквартале от большой ограды, на улице Дзержинского, мы увидели Зою Корнеевну. И разом замедлили шаги. Потом остановились.

– Ну? – ледяным тоном сказала Зоя Корнеевна. – Как это понимать?

– Мама, я не мог уйти. Я…

– Как это не мог, если ты мне о б е щ а л?

– Но там я тоже обещал! Я караулил одежду! А ребята ушли и задержались…

– Он был как часовой, – сказал я.

Зоя Корнеевна не удостоила меня взглядом. А Темчик вцепился в мои слова, как в спасение:

– Да, я был часовой! Я там тоже обещал! Не мог же я разорваться между двумя обещаниями!

– Надо выполнять то, что обещал раньше, – холодно сказала ему мать.

– Но они же не знали… Я же не мог… Я…

– Ну-ка, подними голову, – сказала Зоя Корнеевна. – Смотри мне в глаза.

Темчик поднял и посмотрел. Кажется, с надеждой на понимание. И на прощение.

Но прощения не было. Зоя Корнеевна ладонью крепко ударила сына по щеке. Голова Темчика мотнулась, и он опять уронил ее. И закапали слезы. На дощатый тротуар – как дождевые капли. Панамка от удара слетела и упала в траву.

– Не надо… – сдавленно сказал я.

– Подними, – велела Темчику Зоя Корнеевна.

Темчик поднял панамку, но не надел. Зоя Корнеевна взяла его за плечо и повела к дому. Красивая – в своем пестром платье и широкополой шляпе – как артистка. Холодная, как снежная королева…

А Тоська стояла в пяти шагах и смотрела.

– Чё зыришь! – гаркнул я на нее. – Довольна?

– Дурак!

– Дура!

Два дня Темчик не появлялся на улице. Я рассказал ребятам про то, что случилось. Кажется, все чувствовали себя виноватыми, даже Рыжий не зубоскалил. Хотя, если разобраться, в чем наша вина? Никто же не знал, что Темчику к трем часам надо было домой…

На третий день я встретил Зою Корнеевну недалеко от рынка, куда мама послала меня за картошкой.

…И сейчас я вставлю опять несколько старых страниц из сохранившегося черновика этой несостоявшейся повести. Он помечен числом 22. 01 девяносто шестого года.

“– Славик!..

Делать нечего, я придержал шаги. Она пошла чуть позади меня.

– Здравствуй, Славик.

Я колюче оттопырил локоть и неразборчиво буркнул в ответ.

– Ты на меня сердишься?

Еще и спрашивает! Я мельком глянул из-за плеча. Продолговатые глаза Зои Корнеевны в тени шляпы излучали снисходительную доброту. Платье шелестело.

– За что же, голубчик?

– А зачем вы Темчика… так! Тогда, на улице…

– Вот в чем дело! Ну… видишь ли, это был импульсивный поступок. Знаешь, что такое “импульсивный”?

Я сердито хмыкнул. Потому что знал. Отчим, если скандалил, швырял посуду, замахивался на маму, потом всегда оправдывался: “Ну, как ты не понимаешь? Я же действовал импульсивно!”

Я сказал беспощадно:

– Импульсивно – это бывает у пьяных и у психов. А вы…

– А я испугалась, – печально объяснила она.

– Чего? Вы же видели, что с ним ничего не случилось! Опоздал немного, вот и все…

– Я испугалась не какого-то несчастного случая. Плохо другое. Я увидела, что он отбивается от рук. Первый признак этого – когда мальчик не выполняет данного обещания.

– Но если он не мог! Он же был все равно что на посту!..

– Незачем было становиться на этот пост… Нет, Славик, ты все равно меня не убедишь. Ты рассуждаешь искренне, но судишь со своих, с детских позиций.

– Детское – значит, всегда неправильное?

Зоя Корнеевна нервно засмеялась и хотела взъерошить мою отросшую прическу. Я увернулся и огрел пустой сумкой лопухи у края тротуара.

– Даже нисколько не разобрались и сразу – бах по лицу! Да еще при всех…

– Здесь ты прав, я поспешила. Следовало с ним разобраться дома, с помощью ремешка. Неторопливо и по всем правилам…

– Это же… еще противнее!

– Ну и что же. Это как лекарство: противно, но необходимо. Тебя разве никогда не “лечили” таким образом?

– Меня? Ни разу в жизни!

Сразу опять вспомнилась зловещая бельмастая старуха, которая позапрошлой осенью изловила меня в своем саду и привела в заброшенный дом, прихватив по дороге хворостину. Хотела дать мне урок за строптивость и вредный язык. Я тогда

обмяк от навалившихся жутких переживаний, но потом словно очнулся и, подхватив уже расстегнутые штаны, с ревом вырвался на свободу.

С той поры меня всегда мутило при виде всякого насилия. Даже при упоминании о нем. Дома меня никогда пальцем не трогали – ни мама, ни отчим.

Зоя Корнеевна увидела, как меня передернуло.

– Ну, значит, ты вполне образцовый сын, не подаешь повода. Твоей маме можно позавидовать. А виноватых мальчиков наказывать следует непременно. И больше всего – за непослушание. Если этого не делать, последствия будут самые скверные…

Наверно, она думала, что я спрошу: какие это скверные последствия?

Но я молча хлестал клеенчатой сумкой по головкам подорожников.

Зоя Корнеевна сказала уже как бы не мне. а в пространство:

– Из непослушных мальчиков получаются непослушные мужчины. И тогда уже ничего не исправить. Хоть локти кусай, хоть рыдай…

Я почуял в этих словах горький смысл.

Потом, вспоминая тот разговор и много раз перекатывая в голове отдельные его фразы, я стал догадываться, в чем дело. Самым непослушным мужчиной в жизни Зои Корнеевны был ее муж. Отец Темчика. Позже я узнал, что он работал в Москве каким-то важным инженером и вдруг уехал в Тобольск. Уехал, видимо, не по своей воле, а в ссылку. (Хорошо еще, что просто в сибирский город, а не в лагерь). И Зоя Корнеевна с сыном была вынуждена ехать за ним. А легко ли ей было оставлять столицу!

Возможно, она считала, что ее муж сам виноват во всех этих бедах: не слушал ее советов. Наверно, это его “непослушание” и стало причиной тобольской ссылки: не делал того, что велела жена, вот и доигрался. А может быть, не только в этом несчастье, но и во многих других винила она мужа. В несчастьях, которые навлек он и на себя, и на семью… Справедливо это или нет – кто знает? Ей-то все свои женские обиды и ревности, конечно, казались справедливыми. А Темчик – “папина копия”. На ком же, как не на нем сорвать свою накопившуюся досаду и свои страхи! Может, и сама того не понимала, верила, что воспитывает сына в справедливой строгости, а получалось вон что…

Впрочем, это были только догадки. И пришли они ко мне гораздо позже, когда поднабрался я жизненного опыта. А в тот момент – на углу улиц Ленина и Первомайской – я буркнул “до свиданья” и облегченно свернул к рынку.

В этот день мы опять ходили купаться и провели на Песках время до вечера. Обычной компанией. Только Темчика с нами не было. Всезнающая Тоська сообщила, что мать его сильно не ругала, но играть не отпустила – три дня подряд она с утра уводила его куда-то с собой: то ли в гости к знакомым, то ли по делам.

– Теперь она вообще его к нам не пустит, – грустно сказал Амирка. – Завоспитывает в *у* смерть.

Я подумал, что пустить-то, может быть, и пустит, но от меня велит держаться подальше. Из-за сегодняшнего спора.

Однако я ошибся. Мое заступничество за Темчика Зою Корнеевну не рассердило. Мало того, она почему-то еще больше прониклась ко мне доверием. И кажется, была довольна, что именно со мной у Темчика самые добрые отношения.

Теперь она здоровалась со мной особенно приветливо. Непрочь была при встрече завести разговор, шутила. Давала понять, что никакой обиды между нами нет. А однажды зазвала меня в гости. Я сперва смущенно отнекивался, но любопытство победило…”

Вот так. Как говорится, “конец цитаты”…

Все, что я писал относительно повести “Однажды играли…” до сих пор, было на самом деле. Так сказать, документальные записи ретроспективного дневника. Или почти документальные… Дальше я рассчитывал строить сюжет уже по законам литературного творчества, где невозможно обойтись без фантазии (впрочем, и дневник – жанр литературный, и она, фантазия, нет-нет да и проскочит в него).

Хочется рассказать, что было дальше с Темчиком, со мной и моими приятелями. Вернее, “что было бы…” Не отпускает от себя эта неродившаяся книжка.

Хотя я понимаю, что нарушаю законы жанра: если это дневник, то надо не забывать и современность.

А что в современности?

Вот и убегаю в прошлую жизнь, в воспоминания, в сюжет ненаписанной повести про Темчика…

“Однажды играли…”

Как же дальше должен был развиваться сюжет?

Зоя Корнеевна так стала доверять мне, что однажды отпустила Темчика ночевать у меня на Нагорной. Там на пустом сеновале у меня было оборудовано что-то вроде каюты.

И вот вечером, уже на закате, мы пошли. И ночевать не стали, а отправились (почти невольно, подчиняясь какому-то сказочному зову) в путешествие по ночному городу.

Сохранился листок (10. 03. 94) с конспектом главы про это путешествие. Вот он.

“… Это полусон-полуявь.

Темчика отпускают ночевать у меня.

Никто не будет искать нас (мама думает, что я ночую у дяди Бори, а ему я сказал, что пойду к Темчику).

Мы идем через лог. Сперва – тихая сказка “Крепостного острова”. Потом -”страшное место” перед глинистым склоном, где меня всегда почему-то охватывает боязнь. Я его стараюсь обходить.

Темчик:

– Идем…

Мы проходим это место напрямик, и ничего не случается, только делается тепло. Похоже на облегчение в поликлинике, когда анализ крови уже взят.

Теплая вода в Тюменке. Мы бредем по руслу, и речка не отпускает нас. Мы выбираемся под высоким черным мостом к Туре. Темные массы обрывов, огоньки на том берегу, баржа-самоходка с уютным светом иллюминаторов…

Мы поднимаемся по обрыву. Город – и знакомый, и незнакомый.

Таинственный пустой рынок, павильоны, предчувствие грозы – электричество в воздухе.

По неузнаваемым (полуузнаваемым) улицам – снова к Нагорной. Церковь, которая давно уже была лишена колокольни – теперь с колокольней.

Откровенный разговор про жизнь. Покаяние: как я многого боялся в жизни, как иногда врал и жульничал…

– Я думаю, что нам еще не раз придется каяться, – по взрослому говорит Темчик.

Теплая капля падает за ворот.

Мы прячемся под пахучей скирдой, поставленной запасливым домохозяином у своего забора.

Ощущение братства.

Звезда, которая светит через ладонь Темчика.

– Темчик, сколько тебе лет?

– Сто двадцать… – Это он слегка дурашливо. Потом признается, что верит в “другие жизни” после смерти. О “Межзвездном скитальце” Джека Лондона (“Мне папа рассказывал”). О вечности и смысле жизни.

Мы засыпаем. Просыпаемся от того, что нам теплым шероховатым языком лижет ноги пришедшая откуда-то корова. Мы не пугаемся коровы и не сердимся на нее. Погладив ласковую буренку, мы уходим вдоль по улице.

Еще одна улица – мощеная и с теплыми лужами. Я ее узна *ю* . Это Садовая. Мы выходим на берег – и рассвет”.

Вообще-то это довольно точный пересказ одного моего сна…

А дальше было так…

17. 04. 97

“Однажды играли…”

Прежде, чем писать, что было дальше, надо вернуться назад. Я забыл упомянуть об одном важном эпизоде. Он, как говорят, “имел место” еще до нашего ночного путешествия.

Когда мы наконец увиделись с Темчиком после истории с пощечиной, я виновато объяснил ему, почему мы задержались после катания на плотах.

– Понимаешь, лезем наверх, а там из земли кости торчат…

Темчик серьезно выслушал о костях, о подземном ходе, о черепе, который скатился вниз. И тихо сказал:

– Это ведь, наверно, нехорошо…

– Что нехорошо?

– Что череп упал в бурьян… Он же… раньше же это человек был, а теперь его будто выбросили.

И я понял, что меня тоже царапает смутная виноватость из-за потревоженных костей. И даже суеверное опасение: не обернулось бы это бедой.

Делиться такими мыслями и чувствами с нашей компанией было себе дороже. Засмеют. Даже Семка, и тот наверняка проедется насчет моего “нежного воспитания”. А Темчик вот все ощутил правильно…

Кончилось тем, что мы пошли на обрыв у взорванного собора и, подвывая в беспощадной “татарской” крапиве, нашли череп и берцовую кость. И закопали их в глине у подножия обрыва. Изжаленные ноги и руки горели, но на душе стало спокойно.

Вот с той поры и появилась между Темчиком и мной особая, отдельная от других, дружеская близость. На которую, впрочем, остальные друзья-приятели внимания не обращали. Только маленький умница Игорек сказал однажды:

– Жалко, что твой друг Темчик скоро уедет.

– Куда?

– К отцу в Тобольск. Ты же сам знаешь.

Я знал. И это придавало моей дружбе с Темчиком ощущение грустноватой непрочности.

– Может, еще не скоро, – насупился я.

– Тоська подслушала, что его мама торопится. Только еще каких-то документов у них нету, а то бы хоть завтра уехали…

Но с Темчиком про отъезд я не заговаривал. И сам он молчал об этом. И я все надеялся: а может, еще не скоро…

В то утро, после ночного путешествия, мы встретили раннее солнышко, а потом спустились под обрыв. Там была обширная свалка: жители ближних домов сбрасывали под обрыв ненужные

вещи.

Лазая среди поломанных кроватей, сплющенных самоваров, ржавых ведер и тряпья, мы нашли круглую блестящую штучку. Темчик нашел.

– Славик, смотри. Будто часы или компас. Только без стрелок.

У находки был никелированный корпус, в нем слюдяная перегородка, а сзади узкая втулка.

– Я знаю! Это мембрана от граммофона! Ну, это как патефон, только старинный. У Пашки Шаклина дома есть такой. Если вставить иголку и опустить ее на пластинку, получается звук. Когда пластинка вертится…

Потом на сеновале у Генки Лаврова мы развлекались с нашей находкой. Кто-то притащил сломанный, с лопнувшей пружиной и без мембраны патефон. Нашлись и пластинки. Сперва две-три, а потом их число возросло. Каждый приносил, что мог выудить дома.

Мы клали пластинку на диск, и один человек крутил его, а другой держал над пластинкой граммофонную мембрану с иглой. Держать надо было умело, чтобы иголка не соскакивала с бороздок. Лучше всего это получалось у Игорька, и он тихо гордился своим умением.

Граммофонная мембрана рассчитана на большущий жестяной рупор. Без него звук получался тихий. Но все же мелодия и слова были хорошо различимы.

Конечно, у многих дома были исправные патефоны – играй сколько хочешь. Но здесь было другое дело. Когда мы собирались вокруг патефона с поломанным механизмом и своими руками сотворяли музыку или песню, это казалось каким-то таинством. Этот обряд сплачивал нас. Даже рыжий Толька становился покладистым и симпатичным.

Наверно, мы там, на темном сеновале, вокруг негромко звучащего ящика напоминали юных подпольщиков у радиопередатчика. По крайней мере, была во всем этом особая романтика.

Правда, и там случались иногда ссоры. Среди наших пластинок были очень разные. Одна – совсем старинная (действительно, граммофонная, а не патефонная) – с маркой “Пишущій амуръ”. На круглой этикетке был изображен желто-розовый пупсик с крылышками, который гусиным пером нацелился на граммофонный диск. А песня на пластинке была “Вдоль по Питерской” в исполнении знаменитого Шаляпина.

Тоська Мухина часто просила поставить именно эту

пластинку. Генка Лавров наконец не выдержал:

– Чего тебе надо от этой Питерской? Не про любовь ведь!

Дотошный Игорек сообщил:

– Да ей не песню надо, а охота снова на голого пацанчика посмотреть…

Тоська замахнулась. Горошек выставил как щит колено с кровоточащей болячкой…

Темчик принес пластинку с грустной песней о Севастополе из фильма “Иван Никулин, русский матрос”.

– Вот, мама разрешила…

Я уже знал, что патефон и пластинки – это, кроме чемоданов с одеждой, было единственное имущество, которое Зоя Корнеевна и Темчик привезли из Москвы. Сейчас они жили среди мебели, которую им временно уступили хозяева квартиры. Кстати, было там и старенькое пианино… Прямо скажем, небогато выглядела их комната. Ну да чего там, временное жилье…

Во всяком деле хочется новизны и совершенствования. Один из старших ребят, брат Валерки Сизова, отремонтировал в патефоне пружину. А Генка Лавров придумал, как усилить звук.

– Где наш горн?

Горн с воткнутым в него “моим” мундштуком валялся на широкой стропилине под крышей. Потому что в первый день, когда я принес мундштук, все в него по очереди потутукали, поразвлекались, но оказалось, что и с мундштуком игра ни у кого не получается: уметь надо. И забросили.

А теперь вспомнили.

Достали горн. Выдернули мундштук. Присоединили горн к мембране через трубку от противогаза. И пионерский сигнальный инструмент зазвучал как граммофонная труба!

Ну, не так громко, конечно. И со всякими там скрипами и хрипами. Но все равно мы возликовали! И прослушали все наши пластинки!

И Темчик слушал. Но… как-то нервно. Нетерпеливо. Крутил в пальцах вынутый из горна мундштук, иногда подносил его к губам. А когда прокрутилась последняя пластинка, торопливо спросил:

– А на горне… разве на нем никто не играет?

– Да никто не умеет. Один пердёж получается, – сообщил бесцеремонный Рыжий. Темчик не обратил внимания на неприличное выражение.

– А… можно попробовать?

Ему, конечно, разрешили. Освободили горн от шланга, Темчик быстро вставил мундштук на место. Поднес к губам.

Дунул раз, другой. Ничего особенного. Рыжий хихикнул:

– Я же говорил…

Но Темчик вдруг поднял трубу повыше и окатил нас чистым, ясным сигналом. Похожим на тот, что играло радио перед утренней передачей “Пионерская зорька”…

Потом он объяснял нам, что у него есть дядя, он трубач в оркестре какого-то московского театра. И этот дядя показывал Темчику, как играют на трубе…

Патефон и пластинки были на время забыты. Звук боевой трубы созывал нас для игр в партизан, мушкетеров и прочих борцов за справедливость. Эти игры были овеяны новой романтикой, потому что теперь у нас был трубач. … В повести я подробно описал бы эти игры. И особенно – как они начинались. С ясного сигнала горна, похожего на мелодию песенной фразы

Заводы вставайте, шеренги смыкайте …

Тонкий легонький Темчик с разбега взлетал на высокую поленницу, изгибал талию, подбоченивался, высоко вскидывал горн. Его гибкая фигурка силуэтом рисовалась на фоне вечернего неба. Это, по-моему, были для Темчика мгновения высшей радости.

Заводы, вставайте…

И наша компания сбегалась к воротам большой ограды… Но в сигналах Темчика, обещающих азарт долгих (до синих сумерек) игр, приключения и радость ребячьего братства, мне слышалась и тайная нотка печали. Напоминание, что Темчик с нами не надолго.

Кончилось все раньше, чем мы ждали. И довольно драматично.

И потом во всем винили Таисию Тихоновну, которую мы называли “пистолетным” прозвищем – ТТ…

Но об этом позже. А сейчас надо заниматься нынешними делами.

***

Надо звонить художнику по поводу иллюстраций к “Кашке“ и “Кречету”, которых собирается издавать Челябинск (если верить сегодняшнему звонку из издательства). Надо, превозмогая отчаянную боль в пояснице, ковылять на почту – платить за телефон и отправлять письмо молодой писательнице Ане Ветлугиной, которая прислала мне свою славную, хотя и

трагическую книжку.

Надо опять читать чужие рукописи и отвечать авторам.

А еще надо купить консервы котам. Им-то наплевать на мое мироощущение (и, наверно, правильно).

Итак – сцепи зубы и вставай…

“Заводы, вставайте…”

Кстати, не так давно видел сон. Какой-то громадный пустырь, рельсы, металлолом, штабеля шпал. Хмурые люди. Много людей, и я знаю, что они доведены до отчаяния нынешней безысходной жизнью. Но отчаяние это – беспомощное, не собранное воедино.

И вдруг на штабель с решительного размаха взлетает мальчик. Взмётывает себя на высоту. Он только что был рядом – маленький, тощий, незаметный, в серых джинсах, серой рубашке. И вот он выше всех, над нами. Вскидывает голову и вдруг… начинает петь. Звонко, чисто – на все пространство. Он поет только два слова:

Заводы, вставайте!
Заводы, вставайте!..

Этот сон никак не связан с памятью о Темчике. Он связан с нынешними днями. Не приведи Господи, если у кого-то все же лопнет терпение, кто-то “встанет”…

18. 04. 97

“Однажды играли…”

Итак, продолжение сюжета…

К ТТ приехал в гости брат (то ли родной, то ли двоюродный). С сыном лет тринадцати. То есть с племянником ТТ. Звали племянника, по-моему, Гоша. Пусть будет Гоша.

Гоша ходил в отутюженных брюках и новой тюбетеечке. И складочки на брюках, и тюбетеечку ему, конечно, простили бы (как простили Темчику панамку), если бы Гоша в остальном оказался “нормальным пацаном”. Но он держался обособленно, в играх не участвовал. Разве что в лото или в подкидного соглашался поиграть, когда мы собирались на большом крыльце. Садился на ступени, осторожно поддернув брючки и оглянувшись, словно боялся кусачих насекомых. Во время игры поджимал губы, как Таисия Тихоновна, когда она снисходила до бесед с необразованными соседками.

Гошка был высокий и тонкий. “Как глиста” – говорил Пашка Шаклин. Гошкин папа, брат ТТ, тоже был высокий и тощий. Я его плохо помню. Запомнил только, что по вечерам (когда мы еще играли, но времени было уже около дясяти часов), он обязательно шел в туалет. В цветном халате соей сестры. Из-под халата торчали волосатые щиколотки.

Туалет, кстати, был новый. Старый стоял в дальнем конце двора, недалеко от помойки, но той весной его снесли и построили другой – на пустой лужайке рядом с флигелем. Стараниями Ивана Георгиевича. Жильцы флигеля возмущались, но напрасно – Иван Георгиевич был во дворе главный. Он говорил, что заботится о всеобщей пользе – до новой уборной ходить ближе. Это была правда. Только вот свежести летнего воздуха это строение посреди двора не способствовало…

Если мы сидели на крыльце и Гошка был с нами, его отец, возвращаясь, бросал на ходу:

– Георгий, домой.

Если племянник ТТ после этого позволял себе задерживаться (должен же он был показать свою самостоятельность), ТТ через минуту высовывалась в окошко:

– Го-ошенька! Пора ложиться спа-ать!

Гоша снисходительно пожимал плечами и шел.

Однажды он снизошел до игры с остальными в чику.Вернее, в “обстенок”, когда пятаком бьют о кирпичную стену, стараясь, чтобы твоя монетка упала поближе к монетке соперника. И во время этой игры они поссорились с Пашкой Шаклиным. Кто там был виноват, не зная, меня рядом не было. Возможно, и Пашка.

Но говорят, Гошка сказал:

– У вас тут все такие жулики?

Это было уже не личное оскорбление, а посягательство на честь всего сообщества. Если хотите, вызов столичного воображалы нашему славному городу Тюмени. Так, по крайней мере, это решил расценить Пашка. И двинул московского мальчика по носу.

Гошка негромко, не теряя достоинства, заревел и пошел домой. Это я уже видел своими глазами, подоспев в данную минуту к месту действия.

Разумнее всего было бы всем исчезнуть со двора, но каждый понимал: это будет похоже на бегство. Да и куда денешься от ТТ? От последствий?

И последствия наступили стремительно. Таисия Тихоновна – в папильотках и цветастом халате – вылетела на крыльцо.

– Бандит! Убийца! Весь в отца! Туда же пойдешь! Сядешь следом за ним в тюрьму!

– Не ври! – взъярился Пашка. – Он никого не убивал! Его… по ошибке! Все знают!

– Бандит он и шпион! Пис *я* т восьм *а* !..

Все притихли. Даже ребятишки знали, что за “пис *я* т восьм *а* ”. Пятьдесят восьмая статья, по которой сажали за “вредительство и контрреволюцию”.

ТТ передохнула и с новым запасом воздуха завопила опять:

– Писят восьма! Писят восьма!..

Она в своем обличительном самозабвении не видела, как Пашка подходит к ней. Он подошел и дал ей по роже.

И опять стало тихо. В этой тишине ТТ пискнула и убежала домой.

Пашка, опустив голову, тоже ушел. К себе.

А остальные весь вечер ходили хмурые. Сигналов горна и шумных игр не было…

Тетя Лена, Пашкина мать, потом рассказывала моей маме:

– Я прихожу с дежурства, а Таисия во дворе подбегает ко мне: “Он меня по лицу! При всех! Ни за что, ни про что!..” Я сгоряча сразу в дом. “Ну, думаю, докатился до ручки, шпана такая!” Подбегаю, а он спит на полу у окошка. Я хотела сорвать одеяло да всыпать сразу, а Володя говорит спокойным таким голосом: “Не трогай его, мама…” Ну и рассказал, как было…”

На следующее утро Пашку от греха подальше отправили в Вагай, к дядюшке, который там работал в местном радиоузле.

А ребячье сообщество занялось планами отмщения. Впрочем, не все, а его наиболее младшие и азартные представители. А старшие оказывали, так сказать, моральную поддержку.

От битья стекол, веревок на лестнице и “привидений” в темных углах отказались сразу – это было традиционно и мелко.

И тогда Темчик сказал:

– А мы в нашем дворе однажды устроили взрыв. Электрический. В сарае одного вредного соседа, который оттаскал за уши одного мальчика… Мы разбили у лампочки от фонарика стекло, сунули ее в запал из спичек и, когда надо, подсоединили ее к батарейке. Через длинный провод… Мне потом очень попало от мамы, но я никого не выдал…

…Ну, и дальнейшее развитие событий повести.

Хороший заряд из кусков горючего целлулоида, которые мы набрали на свалке Завода пластмасс. Запал из щепоти дымного пороха, который я раздобыл в охотничьих запасах отчима. “Дистанционное управление” из длинного, идущего вдоль заборов провода и плоской батарейки.

Вечер. Традиционная прогулка Гошиного папаши в уборную. (То, что это не сама ТТ, а ее брат, роли не играло – одно злодейское семейство!). Контакт, вспышка в яме под дощатым стульчаком уборной. Подпаленный Гошин папа – в развевающемся халате он с воем несется к дому…

А дальше – непредвиденное развитие событий: полыхающий в сумерках сортир, звенящая и гудящая пожарная машина…

Диверсионная группа (я, Темчик, Семка, Рыжий, Валерка Сизов и старший – Генка Лавров) в это время уже далеко…

Мне хотелось еще написать, что в составе пожарной команды приехал и мой обидчик – Ражий. И как судьба дополнительно наказала его там – например, он свалился в выгребную яму. Но до конца этот эпизод я так и не додумал. Наверно, потому, что это был бы явный перебор…

А потом была разборка с виноватыми. Легче всех отделался я. Мама была далеко, все жалобы оказались адресованными дяде Боре, а он всегда поддерживал ребят – если не явно, то в душе. И логично ответил Ивану Георгиевичу, что прежде, чем требовать принятия мер, надо иметь явные доказательства вины.

Явных доказательств не было. Был чей-то донос, по которому и определили диверсантов. Но так как все отпирались отчаянно, дело и ограничилось обычными выволочками.

Рыжий даже выдвинул контробвинение против взрослых. Мол, кто-то сдуру вылил в уборную остатки керосина, а братец ТТ, сидя там, тайно курил (заботливая сестра курить ему запрещала), а потом бросил вниз, под себя окурок. И это было похоже на правду. Тем более, что провод мы успели смотать и спрятать…

А еще через день мы узнали, что нас выдал Темчик.

Это сообщила Тоська Мухина. Пришла на сеновал к Генке Лаврову, где мы грустно сидели у молчащего патефона, и рассказала:

– Мамочка его взялась за него как следует, я сама слышала. Завела патефон, чтобы не слышно было, как ревет, и дала ремня. Он сперва терпел, а потом признался и про всех рассказал… А чего! Ремешок тонкий, это же нестерпимо… – И она нервно облизала чересчур красные губы.

Мы подавленно молчали.

– Я же говорил, что он д-девчатник, – высказался наконец Рыжий. От волнения и досады он всегда заикался. Быть “девчатником”, по Толькиному разумению, было самым мерзким грехом.

– Может, ты, Тоська, врешь, – неуверенно заметил Генка.

– Если бы… – грустно и очень искренне вздохнула она.

– А вот мы его самого спросим, – сказал Семка Левитин и тяжело засопел.

– Как вы спросите-то? – опять вздохнула Тоська. – Он сегодня уезжает в Тобольск. Наверно, уже на пристани. Пароход в три часа…

Вот это еще новость! Хотя Темчик и оказался предатель (вроде тех, кто выдал “Молодую гвардию”), мне стало грустно до щекотанья в горле.

Тоська вздохнула третий раз и ушла с сеновала.

Мы посидели еще.

Забрался к нам Игорек. Сел, как воробушек, на невысокую балку.

– Темчик уехал. Слыхали?

– Слыхали про твоего Темчика, – буркнул Семка.

– А чего вы! Он же не виноват, что попрощаться не смог. Его мать не отпустила.

– На фиг нам его прощание, – сказал Рыжий.

– Да вы чего? – опять удивился Игорек. – Он же не виноват… Я вот, пластинку принес. Он мне ее незаметно сунул, сказал: “На память”.

Горошек и правда держал в руках пластинку в бумажном конверте. Я узнал ее. Это была песня из фильма “Петер”. “Танцуй танг *о*… ”

– Надо было разбить ее о его предательскую башку! – безжалостно заявил Рыжий.

Игорек заморгал:

– Почему предательскую?

– Тоська сказала, что это он всех нас выдал, – сдержанно

объяснил я. – Когда мать на него нажала…

– Ох и дураки, – пожалел нас маленький, но безбоязненный Игорек.

– Почему? – с надеждой вскинулся Генка.

– Тоська сама всех и выдала! Неужели вы не знаете?

– Зачем?! – не поверили мы хором.

– Потому что ей хотелось поглядеть, как мать будет Темчика лупить. Притаилась у дырки… Она такая…

С полчаса мы сидели виноватые и счастливые. Виноватые перед Темчиком. Счастливые, что он оказался не при чем. И обсуждали, как отомстить Тоське…

Забегая вперед, скажу, что никак мы ей не отомстили. Даже играли с ней иногда по-прежнему. Но ощущение скрытой брезгливости по отношению к Мухиной никогда уже нас не оставляло…

– Давайте послушаем пластинку, – вдруг предложил Генка. Это было как бы наше прощание с Темчиком. И признание нашей вины перед ним, и просьба о прощении…

Подсоединили горн к мембране, завертели пластинку. До конца, в полном молчании прослушали все, что пела Франческа Гааль. По инерции Игорек прокрутил пластинку еще, когда игла скользит уже на гладких витках спирали, у самой наклейки. И вдруг…

И вдруг далекий, очень далекий вскрик:

– Не скажу! Хоть убей! Я честное слово дал! Я че…

Что это? Мы притихли как при появлении призрака. И не сразу решились прокрутить еще раз.

Снова тот же вскрик. И снова. И снова…

– Темчик… – растерянно и виновато сказал Рыжий.

– Голос отпечатался, – наконец понял Генка. – Я про это читал. Если громко кричать рядом с патефоном, на пустых бороздках, вот на этих, крик может записаться…

Мы послушали еще.

Семка скрипнул зубами:

– Она его хлестала, а он… никого не назвал…

– Да не хлестала она! – заспорил Игорек. – Вовсе даже пальчиком не трогала! Но она хотела билеты пароходные порвать. “Ни за что, – говорит, – не поедем к отцу, а поедем обратно в Москву, если про все не расскажешь”… Вот… А он – “не скажу”…

– Зачем она его допрашивала-то? – сумрачно сказал Генка. – Ведь и так все было ясно, Тоська же сообщила ей… Тем более, что все равно им уезжать…

Но я понял. Зоя Корнеевна требовала от сына п о л н о г о признания и п о л н о г о раскаяния, потому что больше всего

страшилась н е п о с л у ш а н и я. И видела в Темчике к о п и ю о т ц а…

Игорек сказал, что Темчик все равно ничего рассказывать не стал. А билеты она, конечно, не порвала. И потом они даже сидели рядышком и плакали вместе. Это видела Тоська, которая подглядывала в дырку и потом призналась Игорьку. Ее характер требовал делиться впечатлениями… А про то, что мать била Темчика, Тоська просто выдумала, тешила свое воображение…

– Ребята! – вдруг подскочил Генка. – А трех часов-то еще нет! Мы, наверно, успеем увидеть пароход, когда он пройдет под мостом! Ну, хоть руками помашем!

И мы помчались, прихватив горн с вставленным мундштуком – чтобы потрубить пароходу.

…Мы не успели. Когда выскочили на мост, пароход уже прошел под ним и был метрах в двухстах…

Мы помахали ему вслед, но без надежды, что Темчик смотрит назад и увидит нас.

Рыжий подул в горн, но хриплые звуки были совсем не похожи, на ясный сигнал боевой трубы.

– Дай сюда! – велел Генка. Размахнулся и бросил горн в реку.

Все понимали, что так и надо. Никто не сумел бы играть так, как Темчик. А если хуже, это будет… ну, несправедливо.

Я все же сказал:

– Мундштук-то надо было вынуть. Я бы отдал его вожатой…

Мне хотелось сделать что-то честное. В память о Темчике.

– Чего уж теперь-то… – вздохнул Генка.

– Ладно… – сказал я.

Пароход уходил за поворот. И вдруг загудел.

Я подумал: “А вдруг это Темчик, вырвавшись от матери, взбежал на капитанский мостик и попросил капитана попрощаться с нами?.. Со мной…”

…И здесь я сам прощаюсь с Темчиком. Со своей ненаписанной повестью.

***

Зачем я изложил в дневнике этот сюжет? Путано, неуклюже… Наверно, просто потому, что повесть не отпускала меня.

Бывает так, что какая-то начатая вещь берет автора в плен, и нельзя от нее освободиться, пока не напишешь. Хотя бы через силу. Хотя бы вот так, для себя.

Теперь, изложив все это на бумаге, я освободился. Хотя понимаю, что повести нет по-прежнему… Есть только записи о

событиях, которые меня долго толкали к этому неполучившемуся сочинению. Реальные события и еще – несколько придуманных эпизодов и деталей.

Интересно все-таки подвести итог и разобраться: что было на самом деле и чего не было?..

19. 04. 97

“Однажды играли…”

Так что же все-таки б ы л о из того, что я хотел написать?

По сути дела, все б ы л о. Почти… Был случай с путевкой и ражим пожарником, были игры. Был горн и (увы!) факт похищения мундштука, была история с катанием на плотах, с костями на обрыве и с перепугавшимся за нас маленьким часовым. Была – во всех деталях – гнусная сцена с ТТ, орущей “писят восьма!”

То есть, если брать каждый случай отдельно, то он, как любят сейчас говорить, “имел место”.

Но случаи – это как кирпичики. Понятно, что из одних и тех же кирпичиков можно построить разные сооружения.

Задумывая повесть, я, конечно, укладывал “кирпичики” по собственному плану. Видимо, в этом и состоит труд литератора. Я переставлял события, менял иногда имена, выстраивал по-своему причинно-следственные связи. Скреплял “кирпичики” раствором фантазии. А раствор этот был замешен на ощущении давнего детства, на моей любви к старому кварталу, на его поэзии, которую я тогда ощущал интуитивно…

Я рассказываю об этом подробно потому, что не только ненаписанная повесть “Однажды играли…”, но и многие другие, написанные (“Тень Каравеллы”, циклы “Шестая Бастионная” и “Золотое колечко…”, недавно законченная “Тридцать три – нос утри”) – появились на свет по тем же правилам.

Да, я свободно обращался с “кирпичиками” фактов.

Например, противную Тоську Мухину (вернее, девчонку, которой я в повести дал такое имя) я перенес в компанию нашего квартала из другого места - она обитала за Тюменкой, недалеко от моего дома на Нагорной. Она действительно была такая вот… Ябедничала на двух своих двоюродных братьев в надежде, что ей “посчастливится” присутствовать при “воспитательном моменте”. И бывало, что ей “везло”. И это не Амирка, а я однажды обозвал ее “гестапницей”, и мы тогда разодрались, и она пустила мне кровь из носа – это меня и спасло. При виде крови моя противница с визгом бежала…

А сестра Игорька в нашей компании на самом деле была не такая подлая, хотя и тоже вредная…

Случай со сгоревшим сортиром я излишне драматизировал (взял за основу похожий случай в школе). Пожар уборной в нашем дворе и правда был, но слабенький, его залили двумя ведрами сами жильцы. И возник он не из-за мести брату ТТ, а из-за головотяпства Рыжего и Амирки, которые там курили и

нечаянно подожгли валявшиеся в углу газеты. Разборки и взбучки были именно по этому поводу …

Теперь – главный вопрос. Его можно сформулировать классической фразой: “А был ли мальчик?”

Да, был ли вообще Темчик-то?

Был. Правда, звали его Гена, Геня, Генчик. Но я это имя уже использовал в другой повести, пришлось придумывать новое.

Это был девятилетний мальчуган, появившийся в нашем квартале и живший там недели три – приехал и уехал.

Но вот тут-то все и дело. В субъективном восприятии фактов и людей.

Когда я потом, через много лет, спрашивал приятелей детства, помнят ли они Генчика, они пожимали плечами. Один только сказал: “А, это который в панамке бегал…”

– Да, – напомнил я. – Он еще на горне играл, был у нас вроде трубача.

– На горне, по-моему, все дудели по очереди…

Скорее всего, Генчик и правда не был тем умелым трубачом, которым остался в моем представлении. Он мне таким казался. Потому что на то короткое время возникла у меня с тем мальчишкой этакая душевная связь. Мы были двое среди многих. И те три недели тюменского лета остались для меня навсегда освященными дружбой с залетевшим к нам откуда-то Генчиком. Сплелись в памяти с ясными сигналами трубы, разносящимися над вечерним кварталом…

Он казался мне мальчиком из рассказа Леонида Пантелеева “Честное слово”. Маленьким, но верным своему слову человеком, которым я восхищался в душе (и знал: сам я никогда не смогу быть таким).

Не так давно я прочитал в воспоминаниях Пантелеева, что на самом деле такого мальчика не было. Что это выдумка. Вернее, он написал о том, как нечто подобное произошло в детстве с ним самим, но без такого драматического накала, как в рассказе.

Я прочитал и подумал: ну, не было так не было… Потому что все-таки м а л ь ч и к б ы л. Многие годы он помогал тысячам других мальчишек становиться честнее и крепче душой – это факт неопровержимый. Это лишь подтверждало хемингуэевскую формулу, что правда искусства выше правды житейской.

Я бы сказал даже, что искусство – это и есть жизнь, только очищенная от случайных наслоений, мути и пыли повседневности. Очищенная и поднятая на более высокую ступень бытия – к высшей реальности.

Не всякий может соскрести эту пыль. Я понимаю , что некоторые мои сверстники вспоминают кварталы своего детства,

как замусоренную территорию с приземистыми неуютными домами и злобными, орущими на ребят соседками – и всё.

Но я не мыслю свой квартал без запаха омытых дождем тополей, без патефонных голосов Шульженко и Утесова (и Франчески Гааль), без ударов по тугому мячу. Без оранжевого заката, распахнувшегося в конце улицы. И без Темчика, без его трубы, на котором закат зажег яркую вспышку…

Заводы, вставайте!..

*(**Примечание при перепечатке. 13 июня, пятница** . Недавно зашел ко мне в комнату Паша и сказал, что вчера вечером в Париже умер Булат Окуджава.*

Вот и еще один наш современник стал историей…

Надежда, я вернусь к тебе,
Когда трубач отбой сыграет,
Когда трубу к губам придвинет
И острый локоть отведет…

Мне кажется, это о многих из нас. И о ребятах из “Каравеллы”. И о Темчике…)

Почему я все-таки не написал повесть ”Однажды играли…”?

Тут причины прежде всего “литературно-технического” свойства. Сам виноват.

Дело в том, что обдумывалась она долго, и я в своем нетерпении во многом растащил ее по другим повестям (как, говорят, Паустовский растащил свой почти готовый роман “Коллекционер”; иногда приятно сравнивать себя с классиками).

Зою Корнеевну я сделал матерью Фаддейки в “Оранжевом портрете с крапинками” (и, в какой-то степени, матерью Салазкина в “Бронзовом мальчике”). О вечерних играх (правда, без трубы) много писал в “Шестой Бастионной”.

Историю ночного путешествия я перенес в повесть “Тридцать три – нос утри”, сделав ее там сновидением. Да она и есть смесь реальности, снов и фантазии. И где что – мне теперь трудно разобраться самому. Да и не надо, наверно. Самое бессмысленное и неблагодарное дело в литературе – насильно расчленять реальность и фантазию…

“Романтику трубача” я перенес в роман “Бронзовый мальчик”.

О сгоревшей уборной (во имя большей документальности) рассказал в повести “Мой друг Форик…”

Да и сам Темчик незаметно просочился в образы Ивки (“Бабушкин внук и его братья”) и Зорко (“Взрыв Генерального штаба”). Так что пришлось бы повторяться. За повторения меня и без того ругали неоднократно. Хотя я и помню слова К.Г.Паустовского, что не надо бояться повторений, но…

Особенно бессовестным повторением была бы история с пластинкой и сломанным патефоном. Где я только не писал о патефонах, граммофонах и старых пластинках! “Битанго”, “Золотое колечко…”, “Кораблики”, “Пистолет капитана Сундуккера”, “Голубятня на желтой поляне”… Всего и не вспомнишь. Удержаться было очень трудно. Любовь к патефонному волшебству я впитал в себя с первых лет жизни…

Патефонная магия

Да, это действительно была магия. Сила, завораживающая душу.

Помню себя еще совсем малышом, переживающим томительное ожидание: к сестре и брату должны прийти гости, будет вечеринка, на которую п р и н е с у т п а т е ф о н. И вот его приносят: темно-синий, голубой, зеленый или коричневый чемодан. А иногда и празднично-красный, как флаги первомайской демонстрации. (Мама говорила. что в довоенные годы у нас тоже был такой, но его унесли, когда обокрали квартиру – еще до моего рождения; как я ненавижу этих воров!).

Мне разрешают сесть на стол рядом с патефоном (попробовали бы не разрешить! – сразу будет такой рёв!). Щелкает плоский никелированный замочек. Медленно, с тихим скрипом поднимается и замирает в наклонном положении крышка. А из недр этого раскрытого чемодана – как широкий выдох – вылетает восхитительный, специальный “патефонный” запах…

Даже сейчас, когда я открываю старый коричневый патефон, купленный в комиссионке, я вдыхаю тот же запах… Вообще-то это смесь застоявшихся ароматов клея, коленкора, чуть поржавевшего железа (из недр внутреннего рупора), сукна на диске и тому подобное. Но все вместе – именно патефонный запах. Тот же, что в давнем детстве. И я, зажмурив глаза, вмиг становлюсь маленьким, переношусь на широкий обеденный стол к предмету своего обожания.

Меня в патефоне восхищает и радует все: блестящие рычажки тормоза и регулятора скорости, сверкающий обод круга, суконное покрытие этого круга, (обязательно тех же тонов, что и патефон, только посветлее)…

Вот вертят ручку, и я ощущаю нервное подрагивание патефонных внутренностей. Он, как живое существо, напрягается, чтобы сейчас выдать музыку и песню… Вот кладут на круг пластинку, по которой скользят особые “пластиночные” блики…

Замечательно, если поставят что-нибудь боевое: про кавалеристов, танкистов или летчиков. Но есть и другие прекрасные пластинки. Например, “Рио-Рита”. Без этой мелодии не мыслим ни один праздник.

Да в конце концов не важно, к а к а я музыка. Всякая хороша! А главное – сам процесс игры! Волшебное воспроизведение звука при соединении вот этого чудесного чемодана и черной лучистой пластинки.

Я неотрывно смотрю, как отражающая лампочку головка мембраны покачивается над вертящимся диском и медленно сдвигается от края пластинки к яркой круглой наклейке с размытой от скорости надписью.

Этикетки пластинок были всяких цветов: алые, вишневые, зеленые, черные с золотом, пополам красные и желтые, светло-голубые… Больше всего мне нравились наклейки глубокого сиреневого тона – они были похожи на сгустившийся за окнами летний вечер…

На этикетках, кроме надписей, были различные значки, которые казались мне полными таинственного смысла: горн с флажком и буквами НГ на этом флажке, ласточка с какой-то загогулиной (потом я узнал, что это скрипичный ключ), а на самых больших и тяжелых были картинки: две пышноволосые тети склонили головы у граммофончика с похожей на оркестровый контрабас трубой.

Что такое граммофон, я знал. Он стоял на тумбочке в квартире Шаклиных. Квадратный коричневый ящик с медными накладными узорами на деревянных стенках.

Граммофон тоже иногда заводили. Только труба его почему-то не присоединялась к ящику, и звук был негромкий. Однако танцевали иногда и под такую музыку.

А бывало, что приятель сестры Юра Жернаков, который увлекался радиотехникой, приносил какую-то электрическую штуку, к которой подключали патефон. Это называлось “радиола”.

Мне не нравилась радиола. Я был изрядный трус и боялся треска электрических помех в усилителях и приемниках. Поэтому, кстати, не любил ходить с сестрой к Юре в гости: там обязательно включали приемник и он начинал сотрясаться от разрядов.

Сейчас думаю: а почему у Жернаковых был приемник? Ведь с началом войны населению было приказано приемники сдать (чтобы не слушали фашистскую пропаганду). Но у Юры приемник точно был. Высокий, как шкафчик. Я даже помню, что, когда начинала светиться шкала, на ней проступала фигурка разноцветного, странно скрюченного человечка…

Иногда Юра и другие приятели сестры и брата приносили пластинки необычного вида: очень тонкие, гибкие, из полупрозрачной разноцветной пленки. Про них почему-то полагалось говорить шепотом. Брат объяснял, что музыку на такие пластинки записывают “самодельным способом”…

Кстати, о записи. О том, как отпечатался голос Темчика на гладких бороздках пластинки. Сам я такого не видел и не

слышал. Пробовал сделать этот фокус на своем патефоне, но безуспешно. Что же меня толкнуло задумать такой трюк для повести?

Дело в том, что еще в детстве я читал о таком способе звукозаписи в книжке Марии Прилежаевой “Юность Маши Строговой”. О школе военного времени. Там есть один мальчик, Витя Шмелев, который показался мне во многом на меня похожим. Так же его “доводили” в школе, так же он любил улизнуть от уроков, притворившись больным. И вот, оставшись однажды дома, он отыскал старую книгу с популярными рассказами по физике и прочитал там об этом звуковом трюке. Тут же попробовал – получилось…

Потом, когда я был уже далеко не молодым писателем, я не раз встречался с Прилежаевой в редакции “Пионера”. Однажды во время традиционного застолья после заседания редколлегии я попробовал узнать у Марии Павловны подробнее, про какую книгу она писала, и пробовала ли она сама сделать опыт с патефоном и пластинкой. Она, поддавшись общему веселью, была разговорчива, доброжелательна и, услыхав мой вопрос, принялась рассказывать. Но тут же, увлекшись всякими подробностями, “съехала на другие рельсы”. И так два или три раза. Больше я не решился настаивать и переспрашивать.

А теперь уже ни о чем не спросишь, ничего не узнаешь. Разве что снова возьмешь и перечитаешь страницы в книжке детства – “Юность Маши Строговой”…

Кстати, недостоверность “звукового трюка” тоже была причиной (одной из многих), по которой я так и не закончил повесть.

По правде говоря, все ее задуманное окончание – чем дальше, тем больше – казалось мне искусственно-драматичным, сконструированным.

Хотя, может быть, я и не прав. Самый-самый конец, когда мы бежим на мост и машем пароходу, искусственным не кажется. Здесь все на месте. Кроме одного: на самом деле пароход не мог плыть под мостом. Пристань была ниже моста по течению, и пароходы, уходившие к Тобольску, двигались в другую сторону.

Впрочем, “правда искусства выше правды житейской”. И я отчетливо вижу, как последний раз вспыхивает на солнце горн, брошенный Генкой Лавровым в желтую воду Туры…

1997 г.